

ЭЛЕНА ФЕРРАНТЕ

ЖИВАЯ ВЗРОСЛАЯ

ЖИЗНЬ

Corpus

НОВЫЙ РОМАН ОТ АВТОРА
"МОЕЙ ГЕНИАЛЬНОЙ ПОДРУГИ",
"ДНЕЙ ОДИНОЧЕСТВА"
И "НЕЗНАКОМОЙ ДОЧЕРИ"

Элена Ферранте

Лживая взрослая жизнь

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=57497871
Лживая взрослая жизнь: АСТ: CORPUS; Москва; 2020
ISBN 978-5-17-121546-0

Аннотация

"Лживая взрослая жизнь" – это захватывающий, психологически тонкий и точный роман о том, как нелегко взрослеть. Главной героине, она же рассказчица, на самом пороге юности приходится узнать множество семейных тайн, справиться с грузом которых было бы трудно любому взрослому. Предательство близких, ненависть и злобные пересуды, переходящая из рук в руки драгоценность, одновременно объединяющая и сеющая раздоры... И первая любовь, и первые поцелуи, и страстное желание любить и быть любимой... Как же сложно быть подростком! Как сложно познавать мир взрослых, которые, оказывается, уча говорить правду, только и делают, что лгут... Автор книги, Элена Ферранте, – личность загадочная, предпочитающая оставаться в тени своих книг. Неизвестно даже, пользуется ли она псевдонимом или пишет под собственным именем. Ее романы переведены на 40 языков, и в 2016 году она вошла в список 100 самых влиятельных людей мира по версии еженедельника Time.

Содержание

Часть I	4
1	4
2	6
3	13
4	18
5	22
6	26
7	33
8	37
9	42
10	48
11	52
Часть II	58
1	58
2	61
3	71
4	78
5	82
6	96
7	100
Конец ознакомительного фрагмента.	108

Элена Ферранте

Лживая взрослая жизнь

Все факты и персонажи, действующие в этом произведении, все присутствующие в нем имена и диалоги – исключительно плод воображения и свободного художественного творчества. Всякое сходство, совпадение и отсылка к реальным фактам, людям, именам и местам не намеренны, а случайны. Упоминание государственных учреждений, газет, журналов и книг обусловлено необходимостью обрисовать вымышленных персонажей.

Часть I

1

За два года до того, как уйти из дома, отец сказал маме, что я совсем некрасивая. Сказал почти шепотом, в квартире, которую родители купили сразу после свадьбы в Рионе Альто¹, в самой верхней точке виа Сан-Джакомо-деи-Капри. Все это – улицы и площади Неаполя, синий свет холодного фев-

¹ Рионе Альто (*Rione Alto*) – район Неаполя, расположенный на вершине холма Вомеро. – Здесь и далее примечания переводчика.

раля, слова отца – словно застыло. А я ускользнула и продолжаю ускользать между строчек, пытающихся сложиться в мою историю, хотя на самом деле у меня ее нет, у меня нет ничего своего, ничего, что по-настоящему началось или по-настоящему завершилось: лишь запутанный клубок – и никто, даже тот, кто пишет сейчас эти строки, не знает, запрятана ли в нем нить повествования или это просто сжавшаяся в комок взъерошенная боль, от которой нет спасения.

Я очень любила отца, он всегда был заботливым и милым. Утонченные манеры соответствовали худощавому телу – любая одежда казалась ему велика, в моих глазах это придавало отцу неподражаемую элегантность. У него были тонкие черты лица, и ничто – ни идеально вылепленный нос, ни пухлые губы, ни глубокие, с длинными ресницами глаза – не нарушало общей гармонии. Со мной он всегда разговаривал весело, независимо от своего и моего настроения, и не уходил к себе в кабинет (отец все время работал), пока я хотя бы не улыбнусь. Больше всего ему нравились мои волосы – я уже и не вспомню, когда он начал их хвалить, наверное, мне было годика два или три. Зато я точно помню, что когда я была маленькая, мы вели такие разговоры:

– Какие красивые волосы, шелковистые, блестящие! Подаришь их мне?

– Нет, они мои.

– Ну не жадничай!

– Если хочешь, я их тебе одолжу.

– Ладно, но я их не верну.

– У тебя есть свои.

– Эти я забрал у тебя.

– Неправда, ты все придумываешь.

– Хочешь – проверь: они были такие красивые, что я их

украл.

Я проверяла, но понарошку, я знала, что он бы ни за что не украл у меня волосы. А еще я смеялась, много смеялась, с отцом мне было веселее, чем с мамой. Он все время просил что-нибудь ему отдать – ухо, нос, подбородок. Утверждал, что они настолько прекрасны, что он без них жить не может. Мне страшно нравилось, когда отец так говорил: он постоянно подчеркивал, что я ему очень нужна.

Конечно, отец вел себя подобным образом не со всеми. Иногда, если что-то его глубоко трогало, он вздохнул рассуждал о сложных вещах, не сдерживая чувств. А иногда, напротив, бывал немногословен, отделялся короткими, меткими фразами, настолько емкими, что разговор сразу затухал. Эти два отца были совсем не похожи на того, которого я любила, я обнаружила их существование лет в семь-восемь, услышав, как отец спорит с друзьями и знакомыми, – они собирались у нас дома и горячо обсуждали то, в чем я ничегошеньки не понимала. Обычно я сидела с мамой на кухне и почти не обращала внимания на шедшие совсем рядом баталии. Но иногда, если мама тоже бывала занята и уходила к себе в комнату, я оставалась в коридоре одна – играла или читала, пожалуй, чаще читала, потому что отец много читал, мама тоже, а мне хотелось им подражать. Я не обращала внимания на взрослые споры и бросала чтение или игру, только когда в повисшей тишине внезапно раздавался один из “чужих” отцовских голосов. С этой минуты все его слушали, а я

ждала, когда же закончится собрание, чтобы удостовериться, что отец опять стал таким, как обычно, — нежным и ласковым.

Тем вечером, за мгновение до того, как произнести врезавшиеся мне в память слова, отец узнал, что у меня не все в порядке с учебой. Для него это стало открытием. С первого класса я всегда училась хорошо и только в последние два месяца начала отставать. Родителям очень хотелось, чтобы у меня были высокие оценки, поэтому при первых тревожных звоночках они заволновались, особенно мама.

— Что с тобой?

— Не знаю.

— Надо стараться.

— Я стараюсь.

— Так в чем же дело?

— Что-то я помню, а что-то нет.

— Учи, пока все не запомнишь.

Я учила до изнеможения, но результаты все равно разочаровывали. В тот день мама ходила в школу беседовать с учителями и вернулась расстроенная. Она меня не ругала — родители никогда меня не ругали. Она лишь сказала: больше всего недовольна учительница математики, но она считает, что если ты захочешь, у тебя все получится. Потом мама ушла на кухню готовить ужин; тем временем вернулся отец. Я слышала из своей комнаты, как она пересказывает ему претензии учителей, и поняла, что она пытается меня

оправдать, ссылаясь на переходный возраст. Однако отец перебил ее и голосом, которым он со мной никогда не разговаривал – с ноткой диалекта, строго-настрого запрещенного в нашем доме, – сказал, не сдержавшись, то, о чем ему лучше было бы промолчать:

– При чем тут переходный возраст, она становится похожа лицом на Витторию.

Знай отец, что я могу его услышать, он бы никогда не произнес это таким тоном, совсем далеким от того, каким велись наши обычные непринужденные, шутливые разговоры. Оба родителя полагали, что дверь в мою комнату закрыта, я всегда ее закрывала, и не заметили, что кто-то из них оставил ее приоткрытой. Так в двенадцать лет я узнала от отца, старавшегося говорить как можно тише, что становлюсь похожа на его сестру, на женщину, которая – отец твердил это, сколько я себя помню, – воплощала уродство и злобу.

Мне возражат: наверняка ты преувеличиваешь, ведь отец не сказал: “Джованна уродина”. Действительно, ему было не свойственно выражаться так резко и грубо. Но я была тогда очень ранимой. Год назад у меня начались месячные, стала заметна грудь, которой я стеснялась, я считала, что от меня плохо пахнет, все время мылась, спать ложилась разбитой и разбитой же вставала. В то время единственным утешением, единственной опорой для меня был отец, который относился ко мне с безоговорочным обожанием. Поэтому сравнение с тетей Витторией было страшнее, чем если бы он сказал:

“Раньше Джованна была красивая, а теперь стала уродиной”. Имя Виттории звучало в нашем доме как имя чудовища, которое все оскверняет, губит все, к чему прикасается. Я почти ничего не знала о ней, мы виделись считанные разы, но – в этом-то все и дело – от наших встреч в памяти остались только отвращение и страх. Не отвращение и страх, которые вызывала у меня Виттория, – ее я совсем не помнила. Меня пугали отвращение и страх, которые испытывали к ней родители. Отец о ней почти не упоминал, словно сестра занималась чем-то постыдным, чем-то, что покрывало грязью ее саму и всех, кто с ней сталкивался. Мама о ней вообще не говорила, а когда отец не сдерживался, пыталась заставить его замолчать, словно из боязни, что Виттория, где бы она ни была, их услышит и мгновенно громадными прыжками промчится по нашей длинной и резко поднимающейся вверх улице, нарочно собирая и таща за собой всю заразу из близлежащих больниц, взлетит к нам на седьмой этаж и разобьет мебель и всю утварь вылетающими из глаз безумными черными молниями, а если мама начнет возмущаться, примется хлестать ее по щекам.

Конечно, я догадывалась, что напряженное молчание скрывало что-то из далекого прошлого, некие давно причиненные и полученные обиды, но в то время я почти ничего не знала об истории нашей семьи, а главное – не воспринимала жуткую тетю как ее члена. Она была букой, которой пугают в детстве, прозрачной, еле заметной тенью, лохматым

чудищем, притаившимся в углу в ожидании, когда дом погрузится в темноту. И вдруг, совершенно внезапно, я узнаю, что становлюсь на нее похожа? Я? Я, прежде считавшая себя красавицей и благодаря отцу твердо знавшая, что останусь такой навсегда? Я, верившая отцу и полагавшая, что у меня чудесные волосы, я, мечтавшая, что меня будут любить столь же безумно, как любит отец, как он меня приучил? Я, и так уже страдавшая потому, что оба моих родителя оказались вдруг мною недовольны, и теперь переполненная тревогой, которая делала мир вокруг тусклым?

Я ждала, что скажет мама, но ее ответ меня не утешил. Хотя она терпеть не могла всех родственников со стороны мужа и испытывала к золовке такое отвращение, какое испытываешь к ящерице, ползущей по голой ноге, она не крикнула ему в лицо: “Ты с ума сошел, между моей дочерью и твоей сестрой нет ничего общего”. Она лишь коротко, еле слышно проговорила: “Да что ты, вовсе нет”. Я вскочила и быстро закрыла дверь, чтобы не слушать дальше. Потом я плакала в тишине и успокоилась, только когда отец объявил – на этот раз добрым голосом, – что ужин готов.

Я пришла к ним на кухню с сухими глазами. Глядя в тарелку, я вынуждена была выслушивать полезные советы о том, как наладить учебу. Потом я вернулась к себе, притворившись, что сажусь за уроки, а они устроились перед телевизором. Мне было очень больно, боль не уходила и даже не ослабевала. Зачем отец это сказал, почему мама решительно

ему не возразила? Их недовольство было вызвано плохими оценками или тревогой, не связанной со школой и длившейся уже невесть сколько? И главное: отец произнес эти слова потому, что огорчился из-за меня сегодня, или потому, что проницательным взглядом человека, который все знает и видит, давно прочел у меня на лице предвестие моего загубленного будущего, надвигающейся беды, которая вызывала у него отчаянье и с которой он был не в силах справиться? Всю ночь я не находила покоя, а к утру решила: чтобы спастись, мне нужно своими глазами увидеть, какое на самом деле лицо у тети Виттории.

Это было непросто. В таком городе, как Неаполь, населенном семействами с многочисленными ветвями, представители которых порой враждовали до кровопролития, но никогда окончательно не сжигали мосты, мой отец умудрялся жить обособленно, словно у него не было кровных родственников, словно он породил себя сам. Разумеется, я много общалась с бабушкой и дедушкой по маминой линии и с маминым братом. Они меня очень любили и заваливали подарками, но потом дедушка и бабушка умерли – сначала он, год спустя она; их внезапное исчезновение меня почти напугало, мама плакала так, как плачут девчонки, когда больно стукнутся. Дядя нашел работу где-то далеко и уехал. Но прежде мы с ними часто виделись, нам бывало весело вместе. О родственниках со стороны отца я почти ничего не знала. Они появлялись в моей жизни в редких случаях – на свадьбах или похоронах, когда все старательно изображали сердечные отношения, поэтому с ними у меня было связано чувство, что я выполняю малоприятную обязанность: поздоровайся с дедушкой, поцелуй тетю. К этим родственникам я никогда не питала особого интереса еще и потому, что после подобных встреч родители нервничали и, словно сговорившись, старались сразу о них забыть, словно их заставили участвовать в дешевом спектакле.

К тому же если родители мамы жили в известном мне месте с внушающим уважение названием – Музей (они были музейными бабушкой и дедушкой), то место, где проживали родители отца, оставалось неопределенным и безымянным. Я твердо знала одно: чтобы добраться до них, нужно спускаться вниз, вниз, все время вниз, в самый низ Неаполя. Путь этот был настолько долгим, что тогда мне казалось, будто мы и отцовские родственники живем в двух разных городах. Многие годы я так и считала. Наш дом стоял в самой высокой части Неаполя: куда бы мы ни шли, приходилось спускаться. Отец с мамой с удовольствием спускались в Вомеро, чуть менее охотно – к дому музейных бабушки и дедушки. Друзья родителей жили в основном на виа Суарес, на пьяцца дельи Артисти, на виа Лука Джордано, виа Скарлатти, виа Чимароза – я хорошо знала те места, потому что там обитали многие мои одноклассники. Не говоря уже о том, что все эти улицы вели на виллу Флоридиана, которую я очень любила, – мама возила меня туда в коляске подышать воздухом и погреться на солнышке, когда я еще не умела ходить, там я часами играла со своими подружками Анджелой и Идой. И только после этих кварталов, где глаз радовали зелень, проглядывавшее вдалеке море, сады и цветы, где царили веселье и хорошие манеры, начинался настоящий спуск – тот, что вызывал у родителей раздражение. По делам, за покупками, по другим причинам – особенно если это было связано с отцовской работой, встречами или дискуссиями

с его участием, родители ежедневно спускались вниз, чаще всего на фуникулере, до Кьяйи или виа Толедо, а оттуда добирались до пьяцца Плебишито, Национальной библиотеки, Порт'Альба, виа Вентальери и виа Флорио; самым дальним пунктом была площадь Карла Третьего, где стоял лицей, в котором преподавала мама. Все эти названия я знала назубок – родители упоминали их постоянно, но редко брали меня с собой, наверное, поэтому я не испытывала, слыша их, того же счастья, что отец и мама. За пределами Вомеро лежал не мой город, то есть – почти не мой: чем дальше стелился он по равнине, тем больше казался мне чужим. Поэтому места, где проживала отцовская родня, представлялись мне диким, неизведанным миром. У них не только не было названий: вдобавок, судя по разговорам родителей, туда было совсем не просто добраться. Всякий раз, когда приходилось ехать в тот район, мои обычно бодрые и оптимистичные папа и мама казались на удивление утомленными и встревоженными. Я была маленькая, но их напряжение, слова, которыми они обменивались – вечно одни и те же, – запечатлелись в моей памяти.

– Андре, – еле слышно говорила мама, – одевайся, пора идти.

Но он продолжал читать и что-то пометать в книжке тем же карандашом, которым делал записи в лежащей рядом тетрадке.

– Андре, уже поздно, они рассердятся.

– Ты готова?

– Я готова.

– А наша девочка?

– И наша девочка.

Тогда отец, оторвавшись от книжки и тетрадки, надевал наконец чистую рубашку и парадный костюм. Он был молчалив, напряжен; казалось, будто он повторяет про себя текст роли, которую ему придется сыграть. Мама, между тем, еще вовсе не была готова: она вновь и вновь проверяла, как выглядит она, как выгляжу я, как выглядит отец, словно именно подобающие наряды и помогут нам вернуться домой живыми и здоровыми. В общем, было ясно, что всякий раз им хотелось защититься от мест и людей, о которых мне не рассказывали, чтобы не волновать. Но я все равно ощущала странную тревогу, узнавала ее; на самом деле тревога присутствовала всегда, она была единственной печальной ноткой в моем счастливом детстве. Мое беспокойство пробуждали непривычные, словно оборванные фразы:

– Прошу тебя: если Виттория что-нибудь скажет, сделай вид, что ты не услышал.

– То есть она начнет дурить, а я должен молчать?

– Вот именно. Не забывай: с нами Джованна.

– Хорошо.

– Не надо мне так отвечать, ничего хорошего тут нет. Но не такой уж это и подвиг. Посидим полчасика и вернемся домой.

Я почти не помню наши визиты. Шум, жара, суетливые поцелуи в лоб, диалект, скверный запах, который исходил от всех – вероятно, из-за страха. Все это со временем поселило во мне уверенность, что отцовские родственники (эти завывающие, отвратительные, мерзкие призраки, но особенно, конечно, тетя Виттория – самая черная, самая мерзкая) представляли опасность, хотя в чем именно она заключалась, я не понимала. Может, они жили в опасном районе? И от кого конкретно исходила эта опасность? От бабушки с бабушкой, дяди с тетей, двоюродных братьев – или только от тети Виттории? Похоже, моим родителям это было известно, и теперь, когда мне срочно потребовалось узнать, как выглядит тетя и что она за человек, мне придется с ними поговорить, чтобы во всем разобраться. Но если я начну приставать с расспросами, чего я добьюсь? Родители либо сразу закроют тему, попросту отказавшись ее обсуждать (“Хочешь повидать тетю? Хочешь к ней сходить? А зачем?”), либо встревожатся и постараются больше вообще не упоминать о Виттории. Тогда я подумала, что для начала неплохо бы найти ее фотографию.

Как-то раз, когда родителей не было дома, я решила порыться в шкафу у них в спальне: мама держала в нем альбомы, в которых в идеальном порядке хранились ее собственные фотографии, фотографии отца и мои. Я знала эти альбомы наизусть, я часто их листала: в основном они рассказывали об отношениях родителей и о моей почти тринадцатилетней жизни. Я уже поняла, что по каким-то таинственным причинам фотографий маминых родственников в них много, а отцовских мало, но главное – ни на одном из этих снимков нет тети Виттории. Однако я помнила, что где-то в том же шкафу стояла старая железная коробка, в которой впере-мешку валялись снимки родителей, сделанные до их знакомства. Я их почти никогда не смотрела, а если и смотрела, то вместе с мамой, и потому надеялась обнаружить среди них фотографии тети.

Я отыскала коробку в глубине шкафа, но для начала решила внимательно пролистать альбомы с фотографиями родителей до свадьбы и с их свадебными фото (в центре – на-супленные отец и мама, вокруг – немногочисленные гости). Затем пошли снимки счастливой пары... наконец появилась я, их дочка: целая куча фото – от рождения до настоящего времени. Я долго разглядывала фотографии свадьбы. Отец был в мятом темном костюме и на всех снимках хмурился,

мама стояла рядом — не в свадебном платье, а в кремовом костюме, на голове — вуаль в тон, выражение лица растроганное. Среди трех десятков или немногим более того приглашенных я узнала родительских друзей из Вомеро, с которыми они продолжали общаться, и маминых родителей — хороших, музейных, дедушку и бабушку. Я все разглядывала снимок, все всматривалась в него, надеясь хотя бы на заднем плане увидеть фигуру, загадочным образом напоминающую женщину, которую я совсем не помнила. Все тщетно. Тогда я взяла коробку; открылась она далеко не сразу.

Я высыпала содержимое коробки на постель, все снимки были черно-белые. Фотографии, относившиеся к маминой и папиной юности, лежали вперемешку: улыбающаяся мама с одноклассниками, мама с подругами, на море, на улице — изящная, нарядная; отец — задумчивый, всегда в одиночестве, ни единого снимка на отдыхе, штаны пузырятся на коленях, рукава пиджаков коротки. Фотографии детства и отрочества были разложены по двум конвертам — полученные от маминого семейства и полученные от семейства отца. На отцовских наверняка есть тетя, подумала я и принялась тщательно их разглядывать. Фотографий было немного, штук двадцать; меня сразу удивило, что на трех или четырех отец, обычно снятый ребенком или подростком со своими родителями или с родственниками, которых я никогда не видела, стоял рядом с нарисованным черным фломастером треугольником. Я быстро догадалась, что эти ровные треуголь-

ники старательно, втайне от всех, нарисовал отец. Я представила, как он по линейке чертит на фотографиях треугольники, а потом аккуратно закрашивает их фломастером, стараясь не выходить за края. Какое же нужно терпение! Я не сомневалась: треугольники кого-то прятали, под черной краской скрывалась тетя Виттория.

Некоторое время я просидела, не зная, что делать. В конце концов я решила: нашла на кухне нож и легонько поскребла малюсенькую часть покрашенного треугольника. Но вскоре стало ясно, что я вот-вот доскребусь до белой бумаги. Я испугалась и бросила это занятие. Я прекрасно понимала, что иду против воли отца, а все, что могло еще больше лишить меня его любви, меня пугало. Тревога усилилась, когда в глубине конверта я обнаружила единственную фотографию, на которой отец был не ребенком и не подростком, а юношей – он улыбался, чего почти не бывало на фотографиях до знакомства с мамой; отец был снят в профиль, его глаза сияли, зубы были ровные, белые. При этом его улыбка, его радость не были ни к кому обращены. Рядом с ним находились целых два треугольника: два аккуратных гробика, в которые он – не в те счастливые дни, когда был сделан снимок, а позже – упрятал тело сестры и кого-то еще.

Я долго разглядывала эту фотографию. Отец стоял на улице в клетчатой рубашке с коротким рукавом; наверное, было лето. У него за спиной виднелись вход в магазин, часть вывески, витрина... но вот ее содержимое было не разглядеть.

Сбоку от черного пятна возвышался белый столб с четкими очертаньями. А еще на снимке были тени, длинные тени, одна из которых явно принадлежала женщине. Тщательно уничтожив стоявших рядом с ним людей, отец оставил их тени на тротуаре.

Я снова принялась медленно соскребать фломастер, но остановилась, поняв, что увижу только белую бумагу. Однако спустя пару минут я опять взялась за дело. Я старалась работать аккуратно, в тишине дома было слышно мое дыхание. Нож я отложила только тогда, когда там, где находилась голова Виттории, осталось малюсенькое пятнышко – то ли краска фломастера, то ли уголок ее губ.

Я все убрала на место, но страх стать похожей на закрашенную отцом сестру уже поселился во мне. Я становилась все рассеянное, желание ходить в школу совсем пропало – это меня пугало. Но мне хотелось получать хорошие оценки, как несколько месяцев назад, для родителей это было важно, я даже подумала, что если снова стану отличницей, ко мне вернутся красота и приятный характер. Однако у меня ничего не получалось: в классе я думала о своем, дома вечно торчала перед зеркалом. Смотреться в зеркало стало моим наваждением. Я старалась понять, правда ли, что во мне начинается проглядывать тетя, но из-за того, что я никогда ее не видела, она мерещилась абсолютно во всем, что во мне менялось. Черты, на которые я до недавнего времени не обращала внимания, становились все более заметны: густые брови, маленькие карие глаза, в которых не было блеска, слишком высокий лоб, тонкие волосы – совсем некрасивые или больше уже не красивые, словно липнувшие к голове, – крупные уши с тяжелыми мочками, тонкая верхняя губа, над которой появился отвратительный темный пушок, слишком пухлая нижняя губа, зубы, выглядевшие как молочные, острый подбородок, а уж нос!.. Как нагло тянулся он к зеркалу, как расширялся книзу! И до чего же темные у меня ноздри! Это были черты Виттории – или мои, и только мои, черты? Дальше

все станет лучше или хуже? Мое тело, длинная шея, казавшаяся непрочной, как паутинка, угловатые костлявые плечи, все больше округлявшиеся груди с темными сосками, тонкие, слишком длинные ноги, доходившие почти до подмышек... Это была я — или шедшая в наступление тетя, тетя во всем своем безобразии?

Я не только изучала себя, но и внимательно присматривалась к родителям. Как же мне повезло, лучших родителей и быть не могло. Они были очень красивые и любили друг друга с юности. Об их знакомстве я знала немного — то, что рассказывали отец с мамой: он, как обычно, чуть иронично и отстраненно, она — взволнованно и нежно. Им настолько нравилось заботиться друг о друге, что ребенка они решили завести довольно поздно, хотя и поженились в юности. Я родилась, когда маме было тридцать, а отцу чуть больше тридцати двух. Мое появление на свет сопровождалось бесконечными тревогами, о которых мама говорила вслух, а отец — мысленно. Беременность протекала тяжело, роды (3 июня 1979 года) показались бесконечной пыткой; в общем, первые два года моей жизни убедительно продемонстрировали, как здорово я им все осложнила. Беспокоясь о будущем, отец, преподававший историю и философию в одном из лучших неаполитанских лицеев, довольно авторитетный в городе человек, любимый учениками, с которыми он не только проводил каждое утро, но и засиживался до вечера, начал давать частные уроки. Измученная моими капризами, доведенная

до отчаяния тем, что я постоянно плакала по ночам, что у меня то краснела кожа, то болел живот, мама, преподававшая латынь и греческий в лицее на площади Карла Третьего и подрабатывавшая редактором любовных романов, надолго впала в депрессию: она стала скверно преподавать и пропускать кучу ошибок в верстках. Вот сколько бед я принесла сразу после рождения. Но потом я стала тихой, послушной девочкой, и родители постепенно пришли в себя. Закончилось время, когда оба они с утра до ночи тщетно пытались уберечь меня от невзгод, которые переживают все люди. Их жизнь обрела новое равновесие: на первом месте была любовь ко мне, а на втором вновь оказались отцовские занятия и мамина работа. Что тут сказать? Они любили меня, а я их. Отец казался мне необыкновенным человеком, мама — невероятно милой; для меня они были единственными четко прорисованными фигурами в мире, где царило смятение.

Смятение, частью которого была я. Иногда я воображала, как во мне разворачивается ожесточенная борьба между отцом и тетей, надеясь, что победит в ней он. Безусловно, размышляла я, Виттория однажды уже взяла верх, когда я родилась, ведь долгое время я была невыносимой, но потом, думала я с облегчением, я стала хорошей, значит, Витторию можно прогнать. Я пыталась успокоиться и, чтобы придать себе сил, искала в себе родительские черты. Однако вечерами, в сотый раз глядясь в зеркало прежде чем лечь в постель, я чувствовала, что давно потеряла родителей. Мое ли-

цо должно было вобрать в себя лучшее, что было у них, а у меня постепенно вырисовывалась физиономия Виттории. Я должна была быть счастлива, но начиналось время несчастий... нет, я никогда не буду жить безмятежно, так, как жили раньше и живут сейчас мои родители.

В какой-то момент я попыталась понять, заметили ли мои лучшие подруги, сестры Анджела и Ида, что я подурнела, а главное – меняется ли к худшему Анджела, с которой мы были ровесницами (Ида была на два года младше). Мне требовался оценивающий взгляд, а на них, как я считала, можно было положиться. Нас воспитали родители, которые дружили десятки лет и придерживались одинаковых принципов. Скажу для ясности, что никого из нас трех не крестили и не учили молитвам, что мы рано узнали о том, как устроен наш организм (книжки с картинками, образовательные мультфильмы), и усвоили, что должны гордиться тем, что мы девочки, что в первый класс мы пошли не в шесть, а в пять лет и всегда вели себя благоразумно, что головы у нас были набиты советами о том, как избежать ловушек, которые расставляет Неаполь и целый мир, что каждая из нас могла в любой момент обратиться к родителям, дабы удовлетворить свое любопытство, и, наконец, что все мы много читали и дружно презирали привычки и вкусы наших ровесниц, хотя, благодаря тем, кто нас воспитывал, разбирались в музыке, фильмах, телепрограммах, певцах, актерах и втайне мечтали стать знаменитыми актрисами и завести красавцев-женихов, с которыми мы бы подолгу целовались, тесно прижимаясь друг к другу нижними частями тела. Конечно, я в основ-

ном дружила с Анджелой, Ида была маленькая, но порой нас удивляла – читала она даже больше нашего, а еще сочиняла стихи и рассказы. Сколько я себя помню, мы с ними не ссорились, а когда назревала ссора, честно говорили все как есть и мирились. Поэтому я пару раз осторожно допросила их как надежных свидетелей. Но они не сказали мне ничего неприятного, наоборот, дали понять, что я им очень нравлюсь; я же со своей стороны находила их все более грациозными. Они были хорошо сложены и так изящны, что, едва заведя их, я сразу чувствовала, что мне необходимо их тепло, и обнимала и целовала обеих, словно желая с ними слиться. Но однажды вечером, когда я была особенно подавлена, они явились с родителями на ужин к нам домой, на виа Сан-Джакомо-деи-Капри, и все пошло не так. У меня было скверное настроение. В тот день я чувствовала себя не в своей тарелке – длинная, тощая, бледная, говорящая идвигающаяся не попад, подозревающая намеки на собственную уродливость там, где их и в помине не было. Например, Ида спросила, указывая на мои туфли:

– Новые?

– Нет, они у меня давно.

– А я их не помню.

– Что с ними не то?

– Да ничего.

– Если ты их только что заметила, значит, сейчас с ними что-то не то.

– Да нет, вовсе нет.

– У меня что, ноги как палки?

Мы продолжали так некоторое время: они меня успокаивали, а я вслушивалась в их слова, пытаюсь понять – они говорят серьезно или скрывают за хорошими манерами тот факт, что я произвожу ужасное впечатление. Мама вмешалась, сказав по обыкновению тихо: “Джованна, хватит, у тебя нормальные ноги”. Мне стало стыдно, я замолчала, а Костанца, мама Анджелы и Иды, заметила: “У тебя очень красивые лодыжки”. Мариано, их отец, воскликнул со смехом: “Да и бедрышки отличные, вот бы зажарить их в духовке с картошкой!” И этим дело не кончилось: он подтрунивал надо мной, беспрестанно шутил; Мариано был из тех, кто уверен, что сможет развеселить даже пришедших на похороны.

– Что сегодня с этой девочкой?

Я помотала головой, показывая, что все в порядке, и даже попыталась ему улыбнуться, но не смогла. Его шутки меня бесили.

– Вот так шевелюра, это что у вас, веник такой?

Я вновь отрицательно покачала головой, но на этот раз не сумела скрыть раздражения: он обращался со мной, как с шестилетним ребенком.

– Милая, но это же комплимент: веник сверху тонкий, снизу толстый, золотистого цвета, а еще его перевязывают веревочкой.

Я мрачно буркнула:

– Я не тонкая и не толстая, и не золотистого цвета, и никто меня не перевязывает веревочкой.

Мариано поглядел на меня растерянно, улыбнулся и сказал дочерям:

– Почему это Джованна сегодня такая кислая?

Я ответила с еще более угрюмым видом:

– И никакая я не кислая.

– Кислая – это не оскорбление, это проявление внутреннего состояния. Знаешь, что это означает?

Я промолчала. Он вновь обратился к дочкам, изображая огорчение:

– Она не знает. Ида, можешь ей объяснить?

Ида неохотно сказала:

– Это значит, что у тебя кривая рожица. Он и мне это говорит.

Мариано был так устроен. Они с отцом приятельствовали с университетской скамьи, и, поскольку никогда не теряли друг друга из виду, Мариано всегда присутствовал в моей жизни. Полный, совершенно лысый, голубоглазый – с детства на меня производила сильное впечатление его бледная, одутловатая физиономия. Появляясь у нас дома, что бывало нередко, он часами беседовал с моим отцом, вкладывая в каждую фразу горькое негодование... меня это раздражало. Мариано преподавал историю в университете и подрабатывал в известном неаполитанском журнале. Они с отцом постоянно спорили, и хотя мы, девчонки, мало что понимали в

их разговорах, мы выросли с мыслью, что наши отцы взялись за решение какой-то трудной задачи и что это требует напряженных занятий и полной сосредоточенности. Но Мариано не только трудился круглые сутки, как мой отец, но еще и громогласно разоблачал многочисленных врагов – жителей Неаполя, Рима и других городов, – мешавших им с отцом хорошо выполнять свою работу. У меня, Анджелы и Иды еще не было своего мнения, но мы твердо знали: мы на стороне наших родителей и против тех, кто желает им зла. Хотя, если честно, в их разговорах нас с раннего детства интересовали только ругательства на диалекте, которыми Мариано осыпал тогдашних знаменитостей. Объяснялось это тем, что всем нам – особенно мне – не просто запрещалось употреблять плохие слова: я вообще не должна была произносить ни слова на неаполитанском. Впрочем, родители, которые нам никогда ничего не запрещали, даже запрещая, проявляли снисходительность. Поэтому тихо, словно бы играя, мы повторяли имена и фамилии врагов Мариано, сопровождая их подслушанными непристойными эпитетами. Но если Анджела и Ида потешались над подобными выступлениями своего отца, то я чувствовала, что за ними скрывается нечто нехорошее.

Разве его шутки не были злыми? Даже в тот вечер? Это я-то кислая, с кривой рожицей, это у меня-то волосы как веник? Мариано просто пошутил – или, шутя, безжалостно раскрыл тайну? Мы сели за стол. Взрослые завели нудные

разговоры про каких-то своих приятелей, намеревавшихся переехать в Рим, а мы молча скучали, надеясь, что ужин скоро закончится и мы уйдем ко мне в комнату. Весь ужин я поглядывала на родителей: отец ни разу не засмеялся, мама едва улыбалась, Мариано непрерывно хохотал, его жена Костанца смеялась не много, но от души. Наверное, моим родителям было не так весело, как родителям Анджели и Иды, ведь они переживали из-за меня. Их друзья были довольны своими дочками, а мои родители – нет. У меня была кислая-прекислая рожица, так разве могли они радоваться, видя меня за столом? Насколько озабоченной выглядела моя мама, настолько же красивой и счастливой казалась мама Анджели и Иды. Мой отец как раз наливал ей вино, говоря что-то отстраненно любезное. Костанца преподавала итальянский язык и латынь, богатые родители дали ей отличное образование. Она была настолько утонченной, что порой мама внимательно следила за ней, словно желая ей подражать, и я непроизвольно вела себя так же. Как так вышло, что подобная женщина выбрала в мужа Мариано? Сияние ее украшений, краски идеально сидевших нарядов ослепляли меня. Буквально прошлой ночью Костанца мне приснилась: кончиком языка она нежно, словно кошка, вылизывала мое ухо. Сон принес утешение, физическое облегчение, проснувшись, я несколько часов ощущала себя в безопасности.

Сейчас, сидя рядом с ней за столом, я надеялась, что исхо-

дящая от нее добрая сила прогонит из моей головы сказанные Мариано слова. Но они так и звенели у меня в ушах весь вечер (мои волосы похожи на веник, у меня кислая рожа), усиливая мою нервозность. Меня то тянуло пошутить, прошептав на ухо Анджеле что-нибудь непристойное, то охватывала тоска. Доев сладкое, мы оставили родителей беседовать и ушли ко мне, и я тотчас спросила Иду:

– У меня и правда кривая рожа? По-вашему, я становлюсь уродиной?

Они переглянулись и почти хором ответили:

– Нет.

– Скажите правду!

Я заметила, что они колеблются. Но потом Анджела собралась с духом и сказала:

– Немножко, но не в смысле внешности.

– Внешность у тебя красивая, – объяснила Ида, – но когда ты переживаешь, ты становишься чуть-чуть некрасивой.

Анджела поцеловала меня и сказала:

– Со мной тоже так бывает: когда я волнуюсь, я становлюсь некрасивой, но потом это проходит.

Связь между уродливостью и переживаниями неожиданно меня утешила. Человек может подурнеть из-за тревоги, объяснили мне Анджела и Ида, тревога уляжется, и красота вернется. Мне хотелось в это верить, я пыталась заставить себя жить беззаботно. Но принуждение к спокойствию не работало, голова внезапно затуманивалась, наваждение возвращалось. Меня все раздражало, скрыть это за ширмой хорошего настроения не получалось. Я быстро поняла, что тревоги так просто не уйдут; возможно, это вовсе не тревоги, а дурные мысли, постепенно перетекавшие в мою кровь.

Не то чтобы Анджела и Ида соврали мне – они не умели врать, нас учили, что врать нехорошо. Указывая на связь между уродливостью и тревогами, они, вероятно, говорили о себе, о собственном опыте, повторяя слова, которыми Мариано – у нас в головах была куча слов, подслушанных в родительских разговорах, – когда-то их утешал. Но я не была ни Анджелой, ни Идой. В семье Анджелы и Иды не было тети Виттории, их отец не говорил, что они становятся на нее похожи. Как-то утром, в школе, я вдруг поняла, что никогда уже не буду такой, какой меня хотят видеть родители, что жестокий Мариано это заметил, что мои подружки найдут себе более подходящих друзей, а я останусь одна.

Я впала в тоску, и в следующие дни мой недуг только

обострялся; единственное, что ненадолго приносило облегчение, – гладить себя между ног, пьянея от наслаждения. Но насколько же унижительно было это делать, забывая себя настоящую! Потом мне становилось еще хуже, так что порой я вызывала у себя отвращение. Я помнила, как здорово было играть с Анджелой на диване у меня дома, когда, прямо перед включенным телевизором, мы ложились лицом друг к другу, переплетали ноги и, ни о чем не договариваясь, ничего не обсуждая, молча засовывали куклу между ластовицами наших трусиков и начинали безо всякого стеснения тереться, извиваться, с силой сжимать куклу, которая словно плясала – живая и счастливая. Все это осталось в прошлом, теперь наслаждение не казалось мне веселой игрой. После я всегда была мокрая от пота и казалась себе еще нескладнее. Маниакальная потребность проверять, что происходит с моим лицом, с каждым днем росла, и я со все большим упорством часами торчала перед зеркалом.

История получила неожиданное продолжение: разглядывая то, что казалось мне несовершенным, мне захотелось за собой ухаживать. Я изучала свои черты и думала, поглаживая лицо: будь у меня такой-то нос, такие-то глаза, такие-то уши, я была бы прекрасна. Подправить нужно было всего чуть-чуть, самую малость, и от этого я то расстраивалась, то переполнялась нежностью к себе. Бедняжка, думала я, до чего же тебе не повезло. Внезапно меня начинало тянуть к собственному изображению в зеркале, однажды я даже поцело-

вала себя в губы, решив в отчаянье, что никто не захочет целовать меня по-настоящему. Так я постепенно перешла к действиям. Шажок за шажком я выходила из ступора, в котором проводила прежде целые дни, разглядывая себя в зеркале; я ощутила потребность привести себя в порядок, словно я – вещь из драгоценного материала, которую испортил неумелый ремесленник. Это я – какая уж ни на есть! – и мне придется заботиться об этом лице, об этом теле, о мыслях у меня в голове.

Как-то воскресным утром я попыталась улучшить свою внешность при помощи маминой косметики. Но мама, заглянув ко мне в комнату, сказала со смехом: “Ты похожа на карнавальную маску, краситься нужно уметь”. Я не возражала, не настаивала на своем, а попросила как можно более послушным голосом:

- Научишь меня краситься, как красишься ты?
- Для каждого лица нужен свой макияж.
- Я хочу быть, как ты.

Маме было приятно, она сказала мне кучу комплиментов, а потом начала меня тщательно красить. Мы провели так не один чудесный час – сколько же мы шутили, сколько смеялись! Обычно мама была молчалива, сдержанна, но со мной – только со мной – охотно превращалась в девочку.

В какой-то момент к нам заглянул отец, в руках у него, как всегда, были газеты. Он увидел, что мы играем, и обрадовался.

– Какие вы обе красавицы! – сказал он.

– Правда? – спросила я.

– Правда. Никогда я не видел столь блистательных дам.

И он ушел к себе: по воскресеньям он читал газеты, а потом работал. Отцовский визит словно бы послужил сигналом. Когда мы остались вдвоем, мама спросила обычным своим усталым голосом, в котором не было ни раздражения, ни упрека:

– Зачем ты копалась в коробке с фотографиями?

Молчание. Значит, она заметила, что я рылась в ее вещах. Заметила, что я пыталась стереть фломастер. Как давно? Я не сумела сдержать слезы, хотя сопротивлялась плачу изо всех сил. “Мама, – сказала я, всхлипывая, – я хотела, я думала, мне казалось...” Но я так и не сумела толком объяснить, чего я хотела, о чем думала, что мне казалось. Я говорила, заливаясь слезами, а мама все никак не могла меня успокоить, наоборот, стоило ей сказать с понимающей улыбкой: “Не надо плакать, можешь просто попросить об этом меня или папу, да и вообще можешь разглядывать фотографии, когда захочется, ну что ты плачешь, успокойся...” – как я зарыдала еще сильнее. В конце концов она взяла меня за руки и тихо сказала:

– Что ты искала? Фотографию тети Виттории?

Тогда я поняла: родители догадались, что я слышала их разговор. Видимо, они долго это обсуждали, наверняка даже советовались с друзьями. Отец, конечно, расстроился, вероятно, он попросил маму объяснить мне, что вкладывал в сказанное совсем иной смысл, что не хотел меня ранить. Скорее всего, так оно и было, обычно маме прекрасно удавалось все сгладить. У нее никогда не бывало вспышек гнева, она даже не раздражалась. Например, когда Костанца посмеивалась над тем, сколько времени мама тратит впустую, готовясь к занятиям, вычитывая верстку дурацких романов, а порой и переписывая целые страницы, мама всегда отвечала ей тихо, спокойно, без малейшей горечи. И даже когда она говорила: “Костанца, у тебя куча денег, ты можешь делать, что хочешь, а мне приходится гнуть спину”, – это звучало мягко, без явной досады. Кто же, как не она, мог исправить ошибку? Когда я успокоилась, мама сказала своим тихим голосом: “Мы тебя любим”, – и еще повторила это раз или два. А потом завела разговор о том, чего раньше мы никогда не обсуждали. Мама сказала, что они с отцом многим пожертвовали, чтобы стать тем, кем они стали. Она тихо проговорила: “Я не жалею, родители дали мне все, что могли, ты ведь помнишь, какие они были ласковые и заботливые, мы купили эту квартиру с их помощью. Но детство твоего отца, его отрочество и

юность прошли тяжело, он был гол как сокол, ему пришлось самому карабкаться вверх. И все это не закончилось и никогда не закончится: налетает очередная буря и сбрасывает тебя вниз, так что приходится начинать все сначала”. Потом мама наконец-то дошла до Виттории и объяснила свою метафору: бурей, которая пыталась столкнуть отца вниз, была она.

– Она?

– Да. Сестра твоего отца очень завистлива. Завистлива не в обычном смысле, а по-плохому.

– Что же такого она сделала?

– Чего она только не делала. Но главное – она так и не сумела смириться с тем, что у отца все получилось.

– Как это?

– Получилось в жизни. Что он хорошо учился в школе и университете. Что он умный. Что он много добился. Что получил высшее образование. Что преподает, что мы поженились, что он много работает, что его уважают и у него есть друзья, есть ты.

– И я тоже?

– Да. Виттория воспринимает всякое событие, всякого человека как личное оскорбление. Но больше всего ее оскорбляет существование твоего папы.

– Кем она работает?

– Прислугой, кем еще она может работать, она ведь доучилась только до пятого класса начальной школы. В том, чтобы

работать прислужкой, нет ничего плохого, ты же знаешь, что Костанце помогает по дому замечательная женщина. Но, видишь ли, Виттория и в этом винит своего брата.

– Почему?

– Да не почему. Особенно если вспомнить, что он ее спас. Она могла кончить куда хуже. Влюбилась в женатого человека с тремя детьми, в настоящего негодяя. Твоему отцу пришлось вмешаться – как старшему брату. Но она и это внесла в список обид, которые никогда ему не простила.

– Может, папе лучше было заниматься своими делами?

– Нельзя заниматься своими делами, если рядом кто-то попал в беду.

– Ну да.

– Но даже помочь ей оказалось непросто, в отместку она причинила нам все зло, на какое была способна.

– Тетя Виттория мечтает, чтобы папа умер?

– Нехорошо так говорить, но да.

– А помириться никак нельзя?

– Нет. Для этого твой папа в глазах Виттории должен стать посредственностью, как все, кто ее окружает. Но поскольку это невозможно, она настроила против него всю семью. По ее вине после смерти бабушки и дедушки у нас не было настоящих отношений ни с кем из папиных родственников.

Я отвечала односложно или тщательно взвешенными короткими фразами. А тем временем думала с отвращением: значит, у меня проступают черты той, что желает смерти от-

цу, горя моей семье; на глаза опять навернулись слезы. Мама это заметила и быстро пресекла. Она обняла меня и прошептала: “Не расстраивайся, теперь ты поняла, что имел в виду папа?” Не поднимая глаз, я решительно замотала головой. Тогда она объяснила мне все еще раз – медленно и, что было неожиданно, почти весело: “Для нас уже долгое время тетя Виттория – не человек, а образ. Знаешь, когда твой папа ведет себя как-то не так, я в шутку его предупреждаю: осторожно, Андре, у тебя только что было лицо, как у Виттории”. Потом мама нежно встряхнула меня и сказала: “Мы так шутим”.

Я мрачно пробормотала:

– Не верю, я от вас такого никогда не слышала.

– Возможно, при тебе мы так не выражаемся, но наедине – да. Это как красный свет, тем самым мы говорим: осторожно, еще чуть-чуть – и мы потеряем все, к чему стремились всю жизнь.

– И меня тоже?

– Ну что ты, разве мы можем тебя потерять? Ты для нас самое дорогое, мы хотим, чтобы ты была очень счастлива. Поэтому мы с папой и настаиваем, чтобы ты хорошо училась. Сейчас тебе трудновато, но это пройдет. Вот увидишь, сколько всего с тобой случится хорошего.

Я шмыгнула носом, мама хотела вытереть мне его, как маленькой, наверное, я и была маленькой, но я отпрянула и сказала:

– А если я не буду больше учиться?

– Останешься невеждой.

– И что?

– А то, что невежественность – это препятствие. Но ведь ты уже стараешься, правда? Жалко не развивать собственный ум.

Я воскликнула:

– Я не хочу быть умной, мама, я хочу быть красивой, как вы с папой!

– Ты станешь еще красивее.

– Нет, если у меня проступают черты Виттории.

– Ты совсем другая, с тобой этого не произойдет.

– Откуда ты знаешь? С кем я могу себя сравнить, чтобы понять, происходит это или нет?

– Я рядом, я всегда буду рядом.

– Этого недостаточно.

– И что же ты предлагаешь?

Я сказала почти неслышно:

– Мне нужно увидеть тетю.

Мама на мгновение задумалась, а потом ответила:

– Обсуди это с отцом.

Я не восприняла ее слова буквально. Я считала само собой разумеющимся, что сначала с ним поговорит мама, а прямо на следующий день отец скажет мне голосом, который я любила больше всего: “Слушаю и повинуюсь! Если наша королева решила, что нужно повидаться с тетей Витторией, то несчастный родитель сопровождает ее, хотя его и придется тащить на поводке”. Затем он позвонит сестре и договорится о встрече или попросит об этом маму: отец никогда сам не занимался тем, что его раздражало, тяготило или расстраивало. А потом он отвезет меня на машине к тете.

Но все складывалось иначе. Проходили часы, дни, отца я видела редко – вечно запыхавшегося, вечно разрывавшегося между лицеем, репетиторством и важной статьей, которую он писал вместе с Мариано. Он уходил рано утром, а возвращался вечером, в те дни постоянно лил дождь, я боялась, что отец простудится, у него поднимется температура и он неизвестно сколько проваляется в постели. Разве такое возможно, думала я, чтобы настолько тихий, настолько деликатный человек всю жизнь сражался со злобной тетей Витторией? Мне казалось еще более неправдоподобным, что он сумел бросить вызов женатому негодяю, имевшему троих детей, и прогнать его, потому что тот намеревался погубить папину сестру. Я спросила у Анджелы:

– Если Ида влюбится в женатого негодяя с тремя детьми, ты, ее старшая сестра, как поступишь?

Анджела ответила, не раздумывая:

– Я все расскажу папе.

Иде такой ответ не понравился, она сказала сестре:

– Ты доносица, а папа говорит, что доносить – самое отвратительное.

Анджела обиженно ответила:

– Я не доносица, это ради твоего же блага.

Я осторожно спросила Иду:

– Значит, если Анджела влюбится в женатого негодяя с тремя детьми, ты папе ничего не расскажешь?

Ида, обожавшая читать романы, ответила, поразмыслив:

– Скажу, если негодяй будет уродливым и злобным.

Ну вот, подумала я, самое страшное – это уродливость и злоба. И однажды, когда отец ушел на какое-то собрание, я осторожно вернулась к важной для меня теме:

– Мам, ты сказала, что мы повидаемся с тетей Витторией.

– Я сказала, что тебе нужно обсудить это с отцом.

– А я думала, ты с ним уже говорила.

– Он сейчас очень занят.

– Давай сходим к ней вдвоем.

– Лучше, чтобы этим занялся он. К тому же скоро кончается учебный год, тебе надо много заниматься.

– Вы не хотите меня туда везти. Вы уже решили, что не станете этого делать.

Мама ответила голосом, каким еще несколько лет назад предлагала мне самой во что-нибудь поиграть, а ей дать отдохнуть:

– Вот как мы поступим: ты знаешь, где виа Миралья?

– Нет.

– А виа делла Стадера?

– Нет.

– А Пьянто?

– Нет.

– А Поджореале?

– Нет.

– А пьяцца Национале?

– Нет.

– А Ареначча?

– Нет.

– А то, что называют Промышленной зоной?

– Нет, мама, нет!

– Вот и узнаешь, это твой город. Сейчас я дам тебе справочник с картой, сделаешь уроки – посмотри, как туда добраться. Если это настолько срочно, можешь как-нибудь съездить к тете Виттории сама.

Последние слова меня обескуражили и почти ранили. Родители не посылали меня одну даже в булочную в двухстах метрах от дома. Когда мы встречались с Анджелой и Идой, кто-нибудь (отец или – чаще – мама) провожал меня к Мариано и Костанце на машине, а потом привозил домой. Теперь

же они внезапно были готовы отправить меня в район, которого я не знала и куда сами они ездили весьма неохотно. Нет-нет, они просто устали от моих стенаний, посчитали блажью то, что мне было необходимо... словом, не воспринимали меня всерьез. Возможно, во мне что-то оборвалось, возможно, именно в тот день закончилось мое детство. Помню, мне показалось, будто хранившиеся внутри меня зернышки незаметно, через дырочку, просыпались на землю. Сомнений не было: мама уже посоветовалась с отцом и с его согласия начала отделять меня от них и их от меня, давая понять, что отныне мне самой придется справляться со своими капризами и причудами. Если вслушаться, за ее тихими и вежливыми словами ясно прозвучало: ты мне надоела, ты усложняешь мне жизнь, ты не хочешь заниматься, на тебя жалуются учителя, а теперь еще эти бесконечные разговоры о тете Виттории. Сколько можно! Джованна, как тебе объяснить, что отец произнес эти слова, потому что любит тебя? Хватит, иди поиграй с картой города, а ко мне больше не приставай.

Так это было на самом деле или нет, но для меня это стало первой потерей. Я остро почувствовала пустоту, которая обычно открывается, когда внезапно забирают что-то, что, как нам кажется, у нас никогда не отнимут. Я не произнесла ни слова. А поскольку мама прибавила: “Закрой, пожалуйста, дверь”, – вышла из комнаты.

Некоторое время я стояла перед закрытой дверью – ошеломленная, ожидая, что мама и вправду выдаст мне справоч-

ник. Этого не произошло, и тогда я почти на цыпочках отправилась к себе делать уроки. Разумеется, книжки я даже не открывала, в голове звучали слова, которые еще мгновение назад я и вообразить не могла. Зачем маме давать мне справочник, я и сама его возьму, изучу и отправлюсь к тете Виттории пешком. Буду идти много дней и месяцев. Эта мысль меня грела. Солнце, жара, дождь, ветер, холод, а я все иду и иду, преодолевая бесконечные опасности, пока не встречаю свое будущее в облике уродливой и коварной женщины. Решено, так я и поступлю. Я запомнила почти все незнакомые улицы, которые перечислила мама, можно сразу поискать хотя бы одну из них. В мою память сильнее всего врезалось название Пьянто². Наверняка это печальное место, значит, там, где живет тетя, страдают или причиняют страдания другим. Улица, где мучаются, лестница, кусты с царапающими ноги шипами, грязные бродячие собаки, из огромной пасти течет слюна... Я решила для начала поискать это место на карте и отправилась в коридор, где стоял телефон. Попробовала вытащить справочник, зажатый массивными телефонными книгами. И заметила сверху записную книжку со всеми номерами телефонов, которые были нужны родителям. Как же я не догадалась. Скорее всего, здесь есть номер тети Виттории, а если так, зачем ждать, пока ей позвонят родители? Могу и сама позвонить. Я взяла записную книжку, нашла нужную букву – никакой Виттории там не было. Тогда я

² *Pianto* – плач, рыдание (*um.*).

подумала: у нее такая же фамилия, как у меня, как у отца – Трада. Я поискала на “Т”, и она нашлась – Трада Виттория. Чуть выцветшие буквы, написанные отцовской рукой.

Сердце бешено колотилось, я ликовала, чувствуя, что словно стою в начале потайного хода, который непременно приведет меня к ней. Я подумала: позвоню. Прямо сейчас. Скажу: это твоя племянница Джованна, мне нужно с тобой повидаться. Может, она сама за мной зайдет. Назначим день и время, увидимся у моего дома или чуть ниже, на пьяцца Ванвителли. Я удостоверилась, что мамина дверь закрыта, вернулась к телефону, подняла трубку. Но как только я набрала номер и послышались длинные гудки, я испугалась. Если честно, после просмотра фотографий я впервые решилась на поступок. Что же я делаю?.. Надо обо всем рассказать – если не маме, то отцу, один из них должен дать разрешение. Осторожно, осторожно, осторожно! Но я колебалась слишком долго, низкий голос, как у курильщиков, которые приходили к нам домой на бесконечные собрания, произнес: “Слушаю”. Произнес так решительно, так бесцеремонно, с такой агрессивной неаполитанской интонацией, что от одного этого меня охватил ужас и я бросила трубку. Я едва успела. Послышался звук ключа в замке – вернулся домой отец.

Я успела отойти от телефона на несколько шагов, пока он входил, оставив предварительно на лестничной клетке мокрый зонтик и тщательно вытерев ноги. Рассеянно поздоровался со мной – без привычного веселья в голосе, ругая почему зря скверную погоду. Лишь освободившись от плаща, отец по-настоящему обратил на меня внимание:

– Чем занимаешься?

– Ничем.

– А мама?

– Работает.

– Уроки сделала?

– Да.

– Все поняла? Объяснить ничего не надо?

Когда он остановился у телефона, чтобы, как обычно, прослушать сообщения на автоответчике, я заметила, что бросила записную книжку открытой на букве “Т”. Отец тоже это заметил, он провел пальцем по странице, закрыл книжку, сообщения слушать не стал. Я надеялась, что он скажет что-нибудь смешное, это прибавило бы мне уверенности. Но он только погладил меня по голове кончиками пальцев и направился к маме. Отец тщательно закрыл за собой дверь – обычно он так не делал.

Я подождала: я слышала, как они негромко о чем-то бесе-

дуют, среди гуденья голосов внезапно раздавались громкие “ты”, “нет”, “но”. Я вернулась к себе, оставив дверь открытой, надеясь, что родители не ссорятся. Прошло не менее десяти минут; наконец в коридоре вновь раздались отцовские шаги – но не в моем направлении. Он ушел к себе, там стоял второй телефон, я слышала, что он звонит, коротко и тихо говорит что-то – что именно, я не могла разобрать... долгие паузы. Я думала, я надеялась, что у них с Мариано серьезные трудности, что отец говорит об обычных, важных для него вещах, о том, что я слышала от него всю жизнь: политика, ценности, марксизм, кризис, государство. Когда разговор закончился, я снова услышала, как он идет по коридору, на этот раз ко мне. Обычно, прежде чем войти, он рассыпался в любезностях: “Разрешите? Где мне сесть? Я не помешаю? Прошу прощения!” – но на этот раз он уселся на постель и сразу сказал самым своим ледяным голосом:

– Мама объяснила тебе, что я говорил не всерьез? Я не хотел тебя обидеть, ты ничуть не похожа на мою сестру.

Я опять расплакалась и забормотала: “Папа, не в этом дело, я знаю, я тебе верю, но...” Слезы его не тронули, он перебил:

– Не надо оправдываться. Виноват я, а не ты, исправлять все тоже придется мне. Сейчас я позвонил твоей тете, в воскресенье я тебя к ней отвезу. Хорошо?

Я ответила, всхлипывая:

– Если тебе не хочется, мы не поедem.

– Конечно, мне не хочется, но хочется тебе, значит, мы поедем. Я довезу тебя до ее дома, пробудешь там, сколько потребуется, я буду ждать в машине внизу.

Я пыталась успокоиться, не плакать:

– Ты уверен?

– Да.

Мы недолго помолчали, а затем он улыбнулся через силу и вытер мне ладонью слезы. Вышло это у него довольно неловко; потом отец завел один из своих бесконечных взволнованных монологов, по обыкновению то повышая, то понижая голос: “Прошу тебя помнить одно, Джованна: твоей тете нравится причинять мне боль. Чего я только не делал, чтобы ее понять, я помогал ей, я ее защищал, я отдал ей все деньги, которые у меня были. Бесполезно, она воспринимала все мои слова как насилие, всякую помощь – как обиду. Она высокомерная, неблагодарная, бессердечная. Поэтому предупреждаю: она постарается сделать так, чтобы ты меня разлюбила, использует тебя, чтобы ранить меня. Она уже поступила так с нашими родителями, братьями, дядей, тетей, кузенами. Из-за нее в моей родной семье меня больше никто не любит. Вот увидишь, она и тебя постарается у меня отобрать. Мысль об этом, – сказал он с таким напряжением, которого я у него никогда не видела, – для меня невыносима”. И отец принялся умолять меня – буквально умолять: он соединил руки, как в молитве, и раскачивал их взад и вперед, – чтобы я больше не тревожилась, потому что для тревоги нет осно-

ваний, и чтобы я не слушала тетю, а залепила себе уши воском, как Улисс.

Я обняла его так, как в последние два года, когда мне нравилось чувствовать себя взрослой, никогда не обнимала, — крепко-крепко. Но с удивлением и раздражением я уловила запах, не похожий на запах отца — тот, к которому я привыкла. Он показался мне чужим — это было больно, но одновременно приносило удовлетворение. Я ясно осознала: раньше я верила, что отец будет всю жизнь меня защищать, а теперь мысль о том, что мы чужие, была мне приятна. Меня охватила эйфория, словно возможность встречи со злом — с тем, что отец с мамой на своем языке называли Витторией, — меня внезапно возбудила.

Я прогнала это чувство, из-за него мне было мучительно стыдно. Я считала дни, отделявшие меня от воскресенья. Мама была заботлива, она помогла мне заранее сделать уроки на понедельник, чтобы я поехала в гости, не переживая из-за школы. Но этим дело не ограничилось. Как-то раз она зашла ко мне, держа в руках справочник с картой, села рядом, показала виа Сан-Джакомо-деи-Капри и, квартал за кварталом, весь путь до дома тети Виттории. Мама хотела доказать, что любит меня и что для нее, как и для отца, важнее всего мое спокойствие.

Но я не удовлетворилась ее уроком и все последующие дни тайно изучала карту города. Вместе с указательным пальцем я продвигалась по виа Сан-Джакомо-деи-Капри, доходила до piazzetta Медалье д'Оро, спускалась по виа Суарес и виа Сальватор Роза, добиралась до Музея, проходила всю виа Флорио до площади Карла Третьего, сворачивала на корсо Гарибальди, шла по виа Казанова, добиралась до piazzetta Национале, потом двигалась по виа Поджореале, по виа дель Стадера, соскальзывала у кладбища Пьянто на виа Мираля, виа дель Мачелло, виа дель Пасконе – и так далее, пока палец не утыкался в Промышленную зону цвета выжженной земли. В такие часы я, как одержимая, повторяла про себя названия этих и других улиц. Я выучила их наизусть,

как учат урок, но на сей раз охотно, и с нараставшим возбуждением ждала воскресенья. Если отец не передумает, я наконец-то увижу тетю Витторию.

Но я не учла, что мои собственные чувства представляли собой спутанный клубок. Чем меньше оставалось дней, тем чаще я, неожиданно для самой себя, мечтала – особенно вечерами, в постели, – чтобы наш визит по какой-то причине не состоялся. Я спрашивала себя, зачем я вынудила родителей пойти на это, зачем я их рассердила, почему не учла, что они разволнуются. Поскольку все ответы были расплывчатыми, желание увидеть тетю Витторию постепенно ослабевало и я начинала думать, что мое требование и чрезмерно, и бессмысленно. Зачем мне знать заранее, каким может оказаться мой внешний и моральный облик? Стереть тетю с моего лица, убрать ее из моей груди я бы все равно уже не смогла, да, наверное, и не захотела бы – ведь это все равно буду я, немного печальная, немного невезучая, но все-таки я. Видимо, желание познакомиться с тетей следовало рассматривать как своего рода вызов. Что ж, значит, я просто в очередной раз решила испытать родительское терпение, как делаю, когда мы вместе с Мариано и Костанцей идем в ресторан и я непременно, с видом многоопытной женщины, мило улыбаясь (особенно Костанце), заказываю то, что мама просила ни в коем случае не заказывать: самые дорогие блюда. В общем, я еще больше на себя разозлилась; вероятно, на сей раз я зашла слишком далеко. В памяти всплывали слова, которые

мама говорила про тетю, я опять слышала взволнованный голос отца. В темноте их неприязнь к этой женщине усиливала страх, который я испытала, услышав ее голос по телефону, ее яростное “Слушаю” с диалектной интонацией. Поэтому в субботу вечером я сказала маме: “Я больше не хочу туда ехать, сегодня мне задали кучу уроков на понедельник”. Но она ответила: “Вы уже договорились, ты не представляешь, насколько тетя обидится, если ты не придешь, она скажет, что это из-за твоего отца”. Поскольку я никак не соглашалась, мама заявила, что я слишком много фантазирую и что если я сейчас не поеду, а на следующий день передумаю, то придется начинать все сначала. В конце она сказала со смехом: “Съезди, посмотри, какая она, эта твоя тетя Виттория. Тогда уж ты точно будешь изо всех сил стараться не походить на нее”.

После дождливых дней в воскресенье выдалась чудесная погода – голубое небо и совсем редкие, маленькие белые облачка. Отец пытался поддерживать обычный шутливый тон, но, заведя машину, сразу умолк. Окружную он терпеть не мог и быстро съехал с нее. Он сказал, что больше любит старые улицы. По мере того как мы углублялись в незнакомый город – ряды облезлых домов, некрашенные стены, промышленные корпуса, большие и маленькие бараки, редкие клочки зелени, глубокие ямы, полные воды и мусора, запах гнили, – отец все больше мрачнел. Решив, что нехорошо ехать в тишине, словно он забыл о моем присутствии, отец впервые

заговорил о своей семье. “Я родился и вырос в этом районе, – сказал он, взмахом руки перед ветровым стеклом указывая на стены из туфа, на серые, желтые и розовые дома, на широкие улицы, пустынные, несмотря на выходной день, – у нас не было ни гроша”. Потом он въехал в еще более убогий район, остановился, раздраженно вздохнул и кивнул на дом кирпичного цвета с обвалившейся штукатуркой. “Я жил здесь, – сказал он, – и здесь до сих пор живет тетя Виттория, вон тот подъезд, иди, я тебя подожду”. Я глядела на него, вне себя от страха, и отец это заметил:

– Что такое?

– Не уезжай.

– Я и с места не сдвинусь.

– А если она не захочет меня отпустить?

– Когда устанешь, просто скажи: мне уже пора.

– А если она не позволит?

– Тогда я приду за тобой.

– Нет, не ходи, я сама справлюсь.

– Ладно.

Я вылезла из машины и зашла в подъезд. Воняло мусором вперемешку с соусом, который по воскресеньям готовят дома. Лифт я не нашла. Я поднялась по раздолбанной лестнице, стены были покрыты широкими белыми выбоинами, одна выглядела такой глубокой, будто ее специально проделали, чтобы что-то спрятать. Я старалась не обращать внимания на неприличные надписи и рисунки, надо было спешить.

Значит, отец жил в этом доме, когда был маленьким и когда ходил в школу? Я считала этажи, на четвертом остановилась, здесь было три двери. Фамилия жильцов была написана только на двери справа: на нее наклеили бумажку с надписью от руки “Трада”. Я позвонила и замерла, не дыша. Ничего. Я медленно досчитала до сорока, несколько лет назад отец сказал, что нужно так делать, когда ты в чем-либо не уверен. Дойдя до сорока одного, я опять позвонила, второй раз звонок прозвучал даже слишком громко. Я услышала возглас на диалекте, хриплые слова: “Какого хрена... *чего* трезвонить... иду, иду”. Потом раздались решительные шаги, ключ целых четыре раза повернулся в замке. Дверь открылась, появилась женщина, одетая в голубое, – высокая, с заколотыми на затылке пышными черными волосами, стройная как тростинка, но с прямыми плечами и большой грудью. В руке она держала непотушенную сигарету. Откашлявшись, она сказала то ли на итальянском, то ли на диалекте:

– Что случилось? Тебе плохо? Ты сейчас описнешься?

– Нет.

– Тогда зачем звонишь второй раз?

Я пробормотала:

– Тетя, это я, Джованна.

– Я знаю, что ты Джованна, но если ты посмеешь еще раз назвать меня тетей – уйдешь, откуда пришла.

В ужасе я согласно кивнула. Несколько мгновений я разглядывала ее ненакрашенное лицо, а потом уставилась в пол.

Виттория показалась мне невероятно красивой, вынести подобную красоту невозможно, вот и приходится считать ее уродиней.

Часть II

1

Я училась все ловчее врать родителям. Поначалу я не то чтобы врала по-настоящему: просто у меня не хватало сил противостоять их по-прежнему крепкому налаженному миру, вот я и делала вид, будто принимаю его, а сама тем временем прокладывала себе тропинку для бегства, которую, впрочем, быстро покидала, как только родители мрачнели. Особенно ужасно было поступать так с отцом: всякое его слово звучало настолько непререкаемо, что будто ослепляло меня и, пытаясь его обмануть, я нервничала и страдала.

Отец даже в большей степени, чем мама, вбил мне в голову, что врать нехорошо. Но после визита к Виттории вранье стало неизбежным. Выйдя из подъезда, я сделала вид, что чувствую облегчение, и помчалась к машине так, будто убегаю от опасности. Не успела я захлопнуть дверцу, как отец, мрачно поглядывая на дом, где он вырос, завел мотор и рывком тронулся с места; он инстинктивно протянул руку, чтобы я не стукнулась лбом о ветровое стекло. Он ждал, что я скажу что-то, что его успокоит, одна часть меня только этого и желала, мне было больно видеть, что он встревожен, но одновременно я не позволяла себе раскрывать рта из страха,

что я что-нибудь ляпну и он разъярится. Спустя несколько минут, поглядывая то на дорогу, то на меня, отец поинтересовался, как все прошло. Я ответила, что тетя расспрашивала меня про школу, что предложила мне воды, поинтересовалась, есть ли у меня подружки, попросила рассказать об Анджеле и Иде...

– И все?

– Да.

– Обо мне она не спрашивала?

– Нет.

– Вообще?

– Вообще.

– А о маме?

– Тоже.

– Так вы целый час обсуждали твоих подружек?

– И школу.

– Что это была за музыка?

– Какая музыка?

– Очень громкая.

– Я не слышала никакой музыки.

– Она вела себя вежливо?

– Не очень.

– Она сказала тебе что-то нехорошее?

– Нет, но у нее неприятные манеры.

– Я тебя предупреждал.

– Да.

– Ну что, удовлетворила любопытство? Увидела, что ты совсем на нее не похожа?

– Да.

– Ну все, поцелуй меня, ты просто красавица. Прости, что я тогда сморозил глупость.

Я сказала, что никогда на него не сердилась, и дала поцеловать себя в щеку, хотя он и вел машину. Но сразу отпихнула его со смехом: ты меня поцарапал, у тебя колючая борода. Мне не хотелось начинать наши обычные игры, хотя я надеялась, что мы станем шутить и он забудет о Виттории. Но отец ответил: “Представь, как царапается тетя своими усами”, – и я сразу подумала о темном пушке над верхней губой – только не у Виттории, а у себя. Я тихо возразила:

– У нее нет усов.

– Есть.

– Нет.

– Ладно, нет; главное – чтобы тебе не захотелось непременно вернуться и проверить.

Я сказала серьезно:

– Я не хочу ее больше видеть.

Это тоже было не вполне ложью, мысль о новой встрече с Витторией меня пугала. Но, говоря это, я уже знала, в какой день и час, в каком месте снова ее увижу. Более того, я вовсе не рассталась с ней, я запомнила все ее слова, жесты, выражения лица – казалось, что *это* все еще происходит, что *это* еще не закончилось. Отец твердил, что он меня любит, а я видела и слышала его сестру, как вижу и слышу ее и сейчас. Вижу, как она появляется передо мной, одетая в голубое, вижу, как она резко командует на диалекте “Закрой дверь” и поворачивается ко мне спиной, словно зная, что я не могу за ней не пойти. В голосе Виттории, а, возможно, и во всем ее теле было разлито нетерпение, которое мгновенно обожгло меня, так бывает, когда зажигаешь спичкой газ и ладонью чувствуешь вырывающееся из прорезей горелки пламя. Я закрыла дверь и пошла за тетей, как будто на поводке.

Мы сделали несколько шагов по пропахшему табачным дымом помещению, где не было окон: свет лился из раскрытой двери. Тетина фигура исчезла в дверном проеме, я последовала за ней и оказалась на крохотной кухоньке, где меня сразу поразили и идеальный порядок, и вонь от окурков и мусора.

– Будешь апельсиновый сок?

– Не стоит беспокоиться.

– Так будешь или нет?

– Да, спасибо.

Она указала мне на стул, тут же передумала, сказав, что стул сломан, и кивнула на другой. Потом, к моему удивлению, она вовсе не вытащила из белого, но пожелтевшего от старости холодильника сок в бутылке, а взяла из корзины пару апельсинов, разрезала их и принялась выжимать сок в стакан прямо рукой, помогая себе вилкой. Сказала, не глядя на меня:

– Ты не надела браслет.

Я испугалась:

– Какой браслет?

– Который я подарила, когда ты родилась.

Насколько я помнила, браслетов у меня никогда не было. Я поняла, что для нее это важно: то, что я не надела браслет, воспринималось ею как оскорбление. Я сказала:

– Наверное, мама надевала мне его, когда я была совсем маленькой, грудной, а потом я выросла и он больше не налезал.

Она повернулась взглянуть на меня, я показала ей запястье – слишком толстое для браслета, какие дарят новорожденным, – и, к моему удивлению, она рассмеялась. У Виттории были крупный рот и крупные зубы, когда она смеялась, обнажались десны. Она проговорила:

– А ты сообразительная.

– Я сказала правду.

– Ты меня боишься.

– Чуть-чуть.

– Правильно, что боишься. Бояться надо, даже когда тебе ничего не угрожает, так тебя не застанут врасплох.

Она поставила передо мной стакан, по которому стекали капельки сока, на оранжевой глади плавали кусочки гуши и белые семечки. Я смотрела на тетины аккуратно причесанные волосы – я видела такие прически по телевизору в старых фильмах, а еще у одной маминой подруги на фотографии, снятой, когда мама была совсем юной. У Виттории были густые брови – черные, словно лакричные полоски между высоким лбом и глубоко посаженными глазами. “Пей”, – велела она. Я сразу взяла стакан, чтобы она не сердилась, но пить было противно: я видела, как сок стекал у нее по ладони, и вообще я всегда просила маму процеживать гушу и семечки. “Пей, – повторила Виттория, – тебе полезно”. Я отпила глоточек, пока она усаживалась на стул, который только что назвала сломанным. Тетя меня похвалила, но похвалила с той же презрительной интонацией: да, мол, ты сообразительная, сразу придумала отговорку, чтобы выгородить родителей, молодец. И объяснила, что меня не туда занесло: она подарила мне не браслет для малышки, а браслет для взрослой, которым весьма дорожила. “Потому что, – подчеркнула она, – я не такая, как твой отец, он любит деньги, любит вещи, а мне на вещи плевать, я люблю людей. Когда ты родилась, я подумала: отдам-ка я его девочке, будет

носить, когда вырастет. Я так и написала в записке твоим родителям «Отдайте ей, когда вырастет», а потом положила все в почтовый ящик. Разве я могла подняться в квартиру? Твой отец и мать просто звери, они бы меня выгнали”.

Я сказала:

– Может, браслет украли воры, не стоило оставлять его в почтовом ящике.

Она покачала головой, темные глаза вспыхнули:

– Какие еще воры? О чем ты говоришь? Раз ничего не знаешь, пей лучше сок. Мама тебе такой выжимает?

Я кивнула, но Виттория словно не обратила на это внимания. Она принялась нахваливать апельсиновый сок, а я отметила, что у нее невероятно живое лицо. Складки между носом и ртом, придававшие ей кислый вид (именно кислый), миг исчезли, лицо, которое еще секунду назад казалось длинным, словно спадавшим вниз с высоких скул – серое полотно, натянутое между висками и челюстями, – обрело цвет, стало мягче. Покойная матушка, – рассказывала она, – на именины приносила мне в постель горячий шоколад, она так его готовила, что он становился нежным и пышным, с воздушными пузырьками. А тебе на именины дают горячий шоколад? Мне хотелось ответить “да”, хотя у меня дома не праздновали именины и никто не приносил мне в постель горячий шоколад. Но я боялась, что она все поймет, и поэтому отрицательно помотала головой. Тетя недовольно проговорила:

– Твой отец и мать не чтут традиции, мнят себя невесть кем, не опускаются до того, чтобы приготовить горячий шоколад.

– Папа пьет кофе с молоком.

– Твой отец дурак, думаешь, он умеет готовить кофе с молоком? Вот твоя бабушка умела. Она добавляла в него две чайные ложки взбитого яйца. Он тебе рассказывал, как мы пили кофе, молоко и ели сабайон³, когда были маленькие?

– Нет.

– Вот видишь! Твой отец так устроен. Он один все умеет, признать, что другие тоже на что-то годятся, он не хочет. А скажешь ему, что это неправда – он тебя вычеркнет из своей жизни.

Виттория недовольно покачала головой и заговорила отстраненно, но не холодно: “Так он вычеркнул моего Энцо, а он мне был милей всех на свете. Твой отец вычеркивает всех, кто может оказаться лучше него, он всегда так поступал, даже когда был совсем маленьким. Он считает себя умным, но он никогда не был умным: я – умная, а он просто хитрый. Он ловко умеет становиться незаменимым. Когда я была маленькая, мне казалось, что без него и солнце не будет светить. Я думала, что если поведу себя не так, как нужно ему, он меня бросит и я умру. Вот он и добивался от меня всего, чего хотел, сам решал, что для меня хорошо, а что плохо.

³ Один из известнейших десертов итальянской кухни: яичный крем с добавлением вина.

К примеру, я с рождения была музыкальной, мечтала стать балериной. Я знала, что это моя судьба, только он один мог уговорить родителей разрешить мне учиться танцам. Но для твоего отца балерины были чем-то плохим, он не согласился. Он считает, что ты заслуживаешь жить на земле, только если все время ходишь с книжкой в руках, а если ты мало учился, ты для него пустое место. Он говорил мне: какой еще балериной, Витто, ты даже не знаешь, кто такая балерина, учись себе и помалкивай. В то время он уже зарабатывал частными уроками и вполне мог заплатить за балетную школу, вместо того чтобы покупать себе новые книжки. Но он этого не сделал, ему нравилось подчеркивать, что все остальные со всеми их делами не имеют значения, а важны только он и его книги. А уж как он обошелся с моим Энцо! – внезапно завершила рассказ тетя. – Сперва прикинулся другом, а потом вырвал у него сердце, разбил на кусочки и выбросил”.

Вот так она и говорила – возможно, чуть грубее, – с обезоруживающей откровенностью. Ее лицо то становилось хмурым, то прояснялось, выражая самые разные чувства: сожаление, отвращение, гнев, печаль. Она говорила об отце такие грязные слова, каких я еще не слышала. Но когда упомянула своего Энцо, то от волнения осеклась и, театрально прикрыв ладошкой глаза, выбежала из кухни.

Я не шевелилась, я была очень взволнована. Воспользовавшись ее отсутствием, я выплюнула в стакан семечки апельсина, которые так и держала во рту. Прошла минута,

другая, мне было стыдно, что я молчала, пока она оскорбляла отца. Надо сказать ей, что нехорошо говорить так о человеке, которого все уважают, подумала я. Тем временем заиграла музыка – сначала тихо, через несколько секунд – на полную громкость. Тетя крикнула мне: “Иди сюда, Джанни, ты что там, заснула?” Я вскочила и вышла из кухни в темный коридор.

Несколько шагов – и я оказалась в маленькой комнатке со старым креслом, брошенным в углу аккордеоном, столиком с телевизором на нем и табуреткой, на которой стоял проигрыватель. Виттория была у окна, смотрела наружу. Отсюда она наверняка видела машину, в которой ждал меня отец. Не поворачиваясь, она сказала, имея в виду музыку: “Пусть услышит эту песню, он ее вспомнит”. Я заметила, что она ритмично двигается: еле заметные движения ног, бедер, плеч. Я в растерянности уставилась ей в спину.

– Впервые я встретила Энцо на танцах, мы танцевали под эту музыку, – сказала она.

– Это было давно?

– Двадцать третьего мая будет семнадцать лет.

– Много времени прошло.

– Не прошло и минуты.

– Ты его любила?

Она обернулась.

– Отец тебе ничего не рассказывал?

Я колебалась; она словно застыла. Виттория впервые по-

казалась мне старше моих родителей, хотя я знала, что она несколькими годами моложе.

– Я знаю только, что он был женат и у него было трое детей.

– И все? Он не говорил тебе, что Энцо был плохим человеком?

Я помедлила:

– Ну, говорил, что не очень хорошим.

– А точнее?

– Что он был негодяем.

Она хмыкнула:

– Плохой человек – твой отец, вот кто настоящий негодяй. Энцо служил в полиции, он даже с преступниками был добрым, по воскресеньям всегда ходил в церковь. Знаешь, я ведь не верила в Бога, твой отец убедил меня, что Бога не существует. Но увидев Энцо, я поняла, что это не так. Не было на земле другого такого доброго, справедливого, отзывчивого человека. А какой у него был голос, как он пел! Это он научил меня играть на аккордеоне. До него меня от мужчин тошнило, а после него я с отвращением гнала всех, кто пытался за мной ухлестывать. Твои родители рассказали тебе одну неправду.

Растерянно глядя в пол, я молчала. Она спросила:

– Не веришь, да?

– Я не знаю.

– Не знаешь, потому что больше веришь вранью, чем

правде... Джанни, тебя неправильно воспитывают. Взгляни, какая ты потешная: вся в розовом, туфельки розовые, куртка розовая, заколка розовая. Спорим, ты даже танцевать не умеешь.

— Когда я встречаюсь с подружками, мы всякий раз практикуемся.

— Как зовут твоих подружек?

— Анджела и Ида.

— Они такие же, как ты?

— Да.

Виттория неодобрительно скривилась, потом нагнулась, чтобы завести пластинку с начала.

— Знаешь этот танец?

— Он старый.

Она подскочила, схватила меня за талию и прижала к себе. От пышной груди пахло нагретой на солнце хвоей.

— Вставай мне на ноги.

— Тебе будет больно.

— Вставай.

Я послушалась, и она принялась кружить меня по комнате, двигаясь изящно и точно. Когда музыка доиграла, Виттория замерла, но не отпустила меня, а проговорила, прижимая к себе:

— Скажи отцу, что мы с тобой танцевали тот самый танец, который я в первый раз танцевала с Энцо. Так и скажи.

— Хорошо.

– Ну все, хватит.

Она с силой оттолкнула меня, и я, внезапно лишившись ее тепла, чуть не вскрикнула: меня словно пронзила боль, но я постеснялась выказать слабость. Мне очень понравилось, что после танца с Энцо она больше ни на кого не смотрела. Я подумала, что она помнит все подробности своей неповторимой любви и, танцуя со мной, мысленно переживает ее заново. Меня это привело в восторг, мне тоже хотелось так влюбиться – как можно скорее влюбиться без оглядки. Воспоминания об Энцо были настолько яркими, что от ее стройного тела, ее груди, ее дыхания моему телу словно передалось чувство любви. Я ошеломленно пробормотала:

– А какой был Энцо, у тебя осталась его фотография?

Ее глаза повеселели:

– Молодец, хорошо, что ты хочешь его увидеть. Давай встретимся двадцать третьего мая и сходим к нему на кладбище.

В следующие дни мама деликатно попыталась довести до конца дело, которое поручил ей отец: понять, заживила ли встреча с Витторией рану, которую они сами невольно мне нанесли. Поэтому я была постоянно настороже. Мне не хотелось признаваться ни ему, ни ей, что Виттория не показалась мне противной. Так что я, продолжая верить в их версию событий, немного верила и в версию тети. Я старалась не проговориться, что лицо Виттории, к моему огромному удивлению, показалось мне настолько живым и ярким, будто оно было одновременно очень красивым и очень уродливым, – я склонялась то к одному, то к другому определению и никак не могла выбрать. Но главное, мне не хотелось ничем – ни блеском глаз, ни румянцем – выдать, что мы договорились встретиться в мае. Однако врать я совсем не умела, я была благовоспитанной девочкой, поэтому двигалась на ощупь, то отвечая на мамины вопросы с чрезмерной осторожностью, то изображая непринужденность и из-за этого говоря лишнее.

Первую ошибку я совершила в то же воскресенье, вечером, когда мама спросила:

- Как тебе показалась тетя?
- Старая.
- Она моложе меня на пять лет.

– Ты выглядишь, как ее дочь.

– Не издевайся.

– Правда, мама! Вы совсем разные люди.

– В этом я не сомневаюсь. Мы с Витторией никогда не дружили, хотя я изо всех сил старалась ее полюбить. С ней трудно поддерживать хорошие отношения.

– Я заметила.

– Она говорила тебе что-то плохое?

– Сперва она держалась холодно.

– А потом?

– А потом немного рассердилась из-за того, что я не надела браслет, который она подарила, когда я родилась.

Я сразу же пожалела о сказанном. Но это уже случилось, у меня вспыхнули щеки, я пыталась понять, расстроило ли маму упоминание о браслете. Но она повела себя как ни в чем не бывало.

– Браслет для новорожденной?

– Браслет для взрослой.

– Который она тебе подарила?

– Да.

– В первый раз слышу. Тетя Виттория нам никогда ничего не дарила, даже цветов. Но если тебе интересно, спрошу у папы.

Я заволновалась. Сейчас она все ему перескажет и он заявит: значит, неправда, что они говорили только о школе, Иде и Анджеле, они разговаривали и о другом, о многом

другом – Джованна пытается это скрыть. Как же я сглупила! Я смущенно пробормотала, что до браслета мне нет дела, и прибавила, изображая отвращение: “Тетя Виттория не красится, не делает депиляцию, у нее очень густые брови, на ней не было ни сережек, ни бус, даже если она и подарила мне браслет, наверняка он был просто жутким”. Но я понимала, что пытаться перечеркнуть сказанное бесполезно: что бы я сейчас ни говорила, мама непременно побеседует с отцом и передаст мне не его правдивый ответ, а ответ, который они сочтут уместным.

Спала я плохо и мало, в школе меня то и дело ругали за невнимательность. Браслет вновь всплыл, когда я уже решила, что родители о нем и думать забыли.

– Папа тоже ничего о нем не знает.

– О чем?

– О браслете, который, как говорит тетя Виттория, она тебе подарила.

– Наверняка она соврала.

– Безусловно. Но если тебе хочется носить браслет, можешь взять один из моих.

Я порылась в маминых украшениях, хотя знала их наперечет, я играла с ними с тех пор, как мне исполнилось три или четыре года. Особой ценности они не имели, а браслетов было всего два: один позолоченный с подвесками в виде ангелочков, второй серебряный с голубыми листочками и жемчужинками. В детстве я очень любила первый и не обра-

щала внимания на второй. Но в последнее время мне очень нравился браслет с голубыми листочками, его даже Костанца как-то похвалила – мол, тонкая работа. Поэтому, чтобы показать маме, будто меня не интересует подарок Виттории, я начала носить серебряный браслет дома, в школе и встречаясь с Анджелой и Идой.

– Какой красивый! – воскликнула однажды Ида.

– Это мамин. Она сказала, что я могу надевать его, когда захочу.

– Наша мама не разрешает нам носить ее украшения, – вздохнула Анджела.

– А это что такое? – спросила я, указывая на золотую цепочку у нее на шее.

– Это подарок бабушки.

– А мне, – сказала Ида, – цепочку подарила папина двоюродная сестра.

Они то и дело упоминали щедрых родственников и некоторых из них очень любили. У меня же были только музейные бабушка и дедушка, но они умерли, я их почти не помнила и часто завидовала тому, что у Анджелы и Иды много родни. Но теперь, когда я была связана с тетей Витторией, у меня вырвалось:

– А мне одна моя тетя подарила браслет намного красивее этого.

– Почему ты его никогда не носишь?

– Он слишком дорогой, мама не велит.

– Покажи!

– Хорошо, только когда мамы не будет дома. А вам готовят горячий шоколад?

– Мне папа давал попробовать вино, – сказала Анджела.

– Мне тоже, – подхватила Ида.

Я с гордостью заявила:

– Мне горячий шоколад готовила бабушка, когда я была маленькой. Она приготовила мне его незадолго до смерти – не обычный шоколад, а нежный и пышный, вкусный-превкусный.

Я никогда не врала Анджеле и Иде, сейчас я сделала это в первый раз. И если вранье родителям меня тревожило, то врать подругам оказалось здорово. Их игрушки всегда были лучше, платья ярче, семейные истории интереснее. Их мама Костанца принадлежала к роду ювелиров из Толедо, так что ее шкатулки были набиты дорогими украшениями – множеством золотых и жемчужных ожерелий, сережками, широкими и узкими браслетами... некоторые она дочкам трогать не позволяла, одним браслетом очень дорожила и часто его надевала, но в остальном – в остальном она всегда разрешала дочкам, и мне тоже, играть с ними. Поэтому, как только Анджела забыла про горячий шоколад, то есть почти сразу же, и стала расспрашивать про драгоценный браслет тети Виттории, я описала его в мельчайших подробностях. Браслет из чистого золота с рубинами и изумрудами, сверкающий, сказала я, как украшения в кино и по телевизору. Описывая

браслет, я не сдержалась и выдумала, что однажды смотрелась на себя в зеркало, совсем голая, на мне были только мамины сережки, бусы и чудесный браслет. Анджела глядела на меня, как зачарованная. Ида спросила, осталась ли я хотя бы в трусиках. Я сказала, что нет, и, соврав, почувствовала такое облегчение, что подумала: сделай я это на самом деле, я бы испытала невероятное счастье.

Тогда я решила попробовать и однажды днем превратила ложь в правду. Я разделась, надела мамины украшения и посмотрела на себя в зеркало. Зрелище было грустное: я казалась себе растением с тусклыми зелеными листочками – чахлым, сожженным солнцем. Хотя я тщательно накрасилась, у меня было невыразительное лицо, помада выглядела на нем, как уродливое красное пятно на сером дне сковородки. Поскольку я уже видела Витторию, я пыталась понять, есть ли у нас что-то общее, но чем больше я вглядывалась, тем больше сомневалась. Она была немолодой женщиной (по крайней мере, в глазах тринадцатилетнего подростка), а я – еще девочкой: наши тела были слишком не похожи, наши лица разделял слишком большой промежуток времени. Разве во мне жили ее энергия и то тепло, которым горели ее глаза? Если у меня и проступали черты Виттории, в них не хватало главного – ее силы. Думая об этом, сравнивая ее брови со своими, ее лоб со своим, я вдруг поняла, что очень хочу, чтобы она и на самом деле подарила мне браслет: если бы он сейчас был у меня, если бы я его надела, я бы почувствовала

себя сильнее.

От этой мысли мне сразу стало тепло и легко, словно измученное тело неожиданно отыскивало нужное снадобье. Я вновь вспомнила слова, которые произнесла Виттория, провозжая меня до двери. “Отец, – сказала она гневно, – лишил тебя большой семьи, нас всех – дедушки, бабушки, тетушек, дядюшек, двоюродных братьев, – потому что мы не такие умные и образованные, как он сам: он словно отрубил нас топором, чтобы ты росла отдельно, чтобы мы тебя не испортили”. В ее словах звучала ненависть, но сейчас они меня утешали, я повторяла их про себя. Они свидетельствовали о том, что между нами установилась крепкая, важная связь, воспринимались как ее требование ко мне. Тетя не сказала “у тебя мои черты” или “ты на меня немного похожа”, она сказала “ты принадлежишь не только отцу и матери, ты и моя тоже, ты принадлежишь всей семье, из которой ушел отец; тот, кто на нашей стороне, никогда не останется один, за нами сила”. Или все дело было в том, что, поколебавшись, я пообещала тете, что двадцать третьего мая не пойду в школу, а отправлюсь с ней на кладбище? И вот сейчас, вспомнив, что в девять утра она будет ждать меня на пьядца Медалье д’Оро у своей темно-зеленой малолитражки, – как объявила мне на прощание Виттория голосом, не терпящим возражений, – я начала плакать, смеяться и строить зеркалу жуткие рожи.

Каждое утро мы втроем отправлялись в школу: родители – учить, я – учиться. Обычно первой вставала мама, ей нужно было успеть приготовить завтрак и привести себя в порядок. Папа поднимался, когда завтрак уже стоял на столе: открыв глаза, он сразу принимался читать, делать пометки в своих тетрадях, он занимался этим даже в ванной. Я вылезала из постели последней, хотя – с тех пор, как началась вся эта история, – и пыталась во всем быть похожей на маму: часто мыть голову, краситься, тщательно выбирать наряды. В итоге оба меня постоянно подгоняли: “Джованна, как ты там?”, “Джованна, ты опоздаешь, и мы из-за тебя тоже”. Одновременно они поторапливали друг друга. Папа настаивал: “Нелла, скорее, мне нужно в ванную”. Мама отвечала спокойно: “Ванная уже полчаса свободна, разве ты еще не умылся?” Но я любила, когда утро проходило иначе. Мне нравилось, когда папа уходил к первому уроку, а мама ко второму или третьему, а еще больше, когда у нее бывал выходной. Тогда она готовила завтрак, периодически покрикивая “Джованна, скорее!”, а потом спокойно занималась многочисленными домашними делами или романами, которые она редактировала, а нередко и переписывала. В такие дни мне было легче: мама умывалась последней, я могла дольше сидеть в ванной, а папа, который всегда опаздывал, хотя и шутил со

мной, чтобы поднять настроение, в спешке высаживал меня у школы и уезжал, не удостоверившись, в отличие от мамы, что я вошла в здание, – словно я уже была большая и могла самостоятельно гулять по городу.

Я подсчитала и с облегчением обнаружила, что утром двадцать третьего мая в школу меня проводит папа, значит, все пройдет удачно. Накануне вечером я подготовила одежду на следующий день (ничего розового): мама всегда меня просила так делать, но я ее не слушала. Утром я проснулась ни свет ни заря, охваченная волнением. Помчалась в ванную, тщательно накружилась, поколебавшись, надела браслет с голубыми листочками и жемчужинками и явилась в кухню, когда мама только что встала. “Что ты вскочила в такую рань?” – удивилась она. “Боюсь опоздать, – ответила я, – у меня контрольная по итальянскому”. Видя, что я волнуюсь, мама стала потираливать папу.

Завтрак прошел гладко, родители шутили и обсуждали меня так, словно я была где-то далеко. Они говорили, что если я не сплю и тороплюсь в школу, то наверняка влюбилась, а я лишь загадочно улыбалась. Потом отец исчез в ванной; на этот раз уже я кричала ему “потираливайся”. Надо сказать, что он очень старался – всего лишь не нашел чистые носки и забыл нужные книжки, так что ему пришлось бегом возвращаться в кабинет. Так или иначе, но я помню, что ровно в семь двадцать, когда папа вышел из дверей кабинета с набитой книгами сумкой, а я только что, как полагалось, на про-

щание поцеловала маму, яростно затрезвонил звонок.

Странно, что кто-то появился в такой час. Мама спешила в ванную, она недовольно поморщилась и попросила меня: “Открой, посмотри, кто там”. Я открыла и обнаружила перед собой Витторию.

– Привет! – сказала она. – Хорошо, что ты уже готова, пошли, а то опоздаем.

Сердце чуть не выскочило у меня из груди. Мама, увидев золовку в дверном проеме, крикнула – именно что крикнула: “Андре, тут твоя сестра”. При виде Виттории у отца глаза полезли на лоб от удивления, рот раскрылся и он воскликнул: “А ты что здесь делаешь?” Боясь того, что вот-вот случится, я вся обмякла, покрылась потом, я не понимала, что ответить тете, как оправдаться перед родителями, я думала, что сейчас умру. Но все прояснилось и разрешилось неожиданно быстро.

Виттория ответила на диалекте:

– Я приехала за Джованной. Сегодня семнадцать лет, как я встретила Энцо.

Больше она ничего не сказала, словно родители должны были сразу понять, почему она явилась и почему им придется отпустить меня без всяких возражений. Однако мама все же произнесла по-итальянски:

– Джованне нужно в школу.

Отец, не обращая ни к жене, ни к сестре, спросил меня ледяным голосом:

– Так ты все знала?

Я стояла, опустив голову и глядя в пол, и отец повторил тем же голосом:

– Вы договорились? Ты хочешь пойти с тетей?

Мама медленно сказала:

– Андре, ну что за вопросы? Конечно, она хочет пойти, конечно, они договорились, иначе бы твоей сестры здесь не было.

Тогда отец сказал мне: “Раз так, иди!” и еле заметным жестом велел сестре отодвинуться. Виттория отодвинулась – бесстрастная маска над желтым пятном легкого платья, – и папа, не отрывая глаз от наручных часов и не попрощавшись ни с кем, даже со мной, помчался вниз по лестнице, а не поехал, как обычно, на лифте.

– Когда ты ее привезешь? – спросила мама золовку.

– Когда она устанет.

Они сухо обсудили время и договорились, что я буду дома в половине второго. Виттория протянула мне руку, я дала ей свою, как маленький ребенок: ладонь у нее была холодная. Она крепко сжала мои пальцы – наверное, боялась, что я убегу и вернусь в квартиру. Другой рукой она вызвала лифт на глазах у мамы, стоявшей на пороге и не решавшейся закрыть дверь.

Вот так примерно все и произошло.

Вторая встреча оставила во мне еще более глубокий след, чем первая. Для начала я обнаружила внутри себя пустоту, способную мгновенно заглотить любое чувство. Тяжесть раскрывшегося обмана, позор предательства, вся боль из-за той боли, которую я, очевидно, причинила родителям, давили на меня лишь несколько мгновений – пока из-за решетки и стеклянных дверей лифта я видела маму, закрывавшую дверь. Как только я очутилась на первом этаже, а затем в машине Виттории, как только села с ней рядом – Виттория сразу же закурила, руки у нее заметно дрожали, – со мной произошло то, что потом происходило очень часто, то принося облегчение, то лишая сил. Привязанность к знакомым местам, к надежным отношениям уступила место любопытству – что же будет дальше? Соседство с этой пугающей и словно заманивающей в свои сети женщиной действовало на меня, так что я уже ловила ее малейшее движение. Она вела грязную, провонявшую табаком машину не твердо и решительно, как водил отец, и не спокойно, как мама, а то рассеянно, то нервно, рывками, резко тормозя, с пугающим скрипом, трогаясь не на той скорости, – мотор почти всегда глох, раздавались оскорбительные выкрики нетерпеливых водителей, на которые она, держа сигарету во рту или в руке, отвечала словами, которых я от женщины прежде не слышала. В

общем, родители были легко задвинуты в угол, и об обиде, которую я им нанесла, сговорившись с врагом, я и думать забыла. Спустя несколько минут я уже не чувствовала себя виноватой, меня даже не волновало, что я скажу им вечером, когда мы все трое вновь окажемся дома, на виа Сан-Джакомо-деи-Капри. Разумеется, где-то в глубине души тревога еще копошилась. Но и из-за уверенности в том, что родители, что бы ни случилось, никогда меня не разлюбят, и из-за рискованной езды на зеленой малолитражке, и из-за того, что мы мчались по все менее знакомому городу, и из-за несвязных речей Виттории я оставалась сосредоточенной и напряженной, а это действовало как анестезия.

Мы проехали через Доганеллу и наконец припарковались – после яростной ссоры с самозванным парковщиком, требовавшим с нас деньги. Тетя купила красные розы и белые маргаритки, поспорила с продавщицей из-за цены, но когда букет уже был готов, передумала и заставила разделить его на два. Она сказала: “Этот понесу я, а этот ты, он будет доволен”. Разумеется, она имела в виду Энцо: с тех пор как мы сели в машину, она, то и дело отвлекаясь, рассказывала о нем с нежностью, совсем далекой от свирепости, которую проявляла за рулем. Она продолжала говорить о нем и на кладбище, пока мы пробирались между колумбариями и величественными надгробиями, старыми и новыми, по дорожкам и лесенкам, которые все время вели вниз, словно мы попали в населенный покойниками высокий район, откуда, чтобы

отыскать могилу Энцо, нам приходится спускаться все ниже и ниже. Меня поразили тишина, серый цвет колумбариев с подтеками ржавчины, запах мокрой земли и темные прорези в форме креста, оставленные в мраморных плитах, – словно чтобы у тех, кто уже не дышал, была возможность дышать.

Раньше я никогда не бывала на кладбище. Папа с мамой меня туда не возили, ходили ли они туда без меня, я не знала, в день поминовения усопших – уж точно нет. Виттория это сразу поняла и не упустила случая обвинить моего отца. “Он боится, сказала она, он всегда боялся, боялся болезней и смерти: все высокомерные люди, Джанни, все, кто считает себя невесть кем, притворяются, будто смерти нет. Когда скончалась твоя бабушка, да покоится она с миром, твой отец даже не явился на похороны. С дедом он поступил так же – пробыл пару минут и сбежал, потому что он трус, он не хотел видеть их мертвыми, чтобы не думать о том, что и сам когда-нибудь умрет”.

Я попыталась осторожно возразить, что отец очень смелый, чтобы защитить его, я повторила то, что он сказал мне однажды: мертвые – как сломанные вещи, как телевизор, радио или блендер, лучшее, что можно сделать, – помнить, какими они были, когда работали, единственный достойный могильный памятник – воспоминание. Виттории мой ответ не понравился, и поскольку она не считала меня маленькой девочкой, с которой нужно тщательно взвешивать слова, она меня отругала, сказав, что я повторяю за отцом как попу-

гай всякие глупости и что так же делает и моя мать, да и она сама так делала, когда была молоденькой. Но когда она встретила Энцо, она выбросила брата из головы. “Вы-бро-си-ла”, – проговорила она по слогам и наконец-то остановилась перед колумбарием, указав на нишу внизу, перед которой была отдельная огороженная клумба; в нише горела лампочка в форме свечи, а еще там были два портрета в овальных рамках. “Ну вот, – сказала она, – мы и пришли. Энцо слева, справа – его мать”. Вместо того чтобы, как я ожидала, застыть с торжественным или сокрушенным видом, Виттория рассердилась из-за того, что рядом валялись какие-то бумажки и сухие цветы. Недовольно вздохнув, она всучила мне свой букет и сказала: “Жди меня тут, никуда не уходи, это такое отстойное место, что если не скандалить, порядка не будет”. Потом она ушла.

Я осталась с двумя букетами разглядывать черно-белую фотографию Энцо. Он не показался мне красавцем, я была разочарована. У Энцо была круглая физиономия, он улыбался, скаля белые зубы. Крупный нос, живые глаза, низковатый лоб, обрамленный черными кудрями. Наверное, он был глупый, подумала я: у нас дома высокий лоб – как у мамы, папы и меня – считался верным признаком ума и благородных чувств, низкий лоб, говорил отец, это прерогатива идиотов. Впрочем, сказала я себе, глаза тоже важны (так считала мама): чем ярче они сияют, тем сообразительнее человек, а из глаз Энцо словно вылетали задорные искры, так что я

окончательно запуталась, глаза явно не сочетались со лбом.

Тем временем в кладбищенской тишине раздался громкий голос Виттории, которая с кем-то ругалась; меня это напугало, я решила, что сейчас ее побьют или арестуют, а я одна не сумею выбраться из этого места, где все казалось одинаковым – шорохи, птицы, высохшие цветы. Но вскоре она вернулась с пожилым мужчиной, который со скучающим видом раскрыл для нее металлическую табуретку с сидением из ткани в полоску и принялся подметать аллею. Мрачно поглядывая на мужчину, Виттория спросила:

– Ну как тебе Энцо? Красивый, правда, красивый?

– Красивый, – солгала я.

– Очень красивый, – поправила она. Как только пожилой мужчина удалился, она вытащила из ваз старые цветы, бросила их в сторону, выплеснула туда же воду, а потом велела мне сходить набрать свежей воды в фонтанчике за углом. Я боялась потеряться и стала отнекиваться, но она прогнала меня, помахав рукой: иди-иди!

Я пошла и обнаружила фонтанчик, из которого текла слабая струйка. Хотя я и содрогалась при мысли, что призрак Энцо шепчет Виттории ласковые слова через прорези в форме креста, мне все-таки нравилось, что связь между ними не прервалась. Вода чуть слышно шипела, струйка медленно тянулась в металлическую вазу. Не страшно, что Энцо некрасивый, – я внезапно растрогалась, слово “некрасивый” утратило смысл, растворилось в журчанье воды. Главное,

чтобы тебя любили, даже если ты некрасивый, злой или глупый. Это по-настоящему важно, и я надеялась, что, каким бы ни стало мое лицо, у меня тоже проявится способность любить, как у Энцо и у Виттории. Я вернулась с двумя вазами, наполненными водой, мне хотелось, чтобы тетя, продолжая разговаривать со мной, как со взрослой, подробно рассказала на своей не знающей стыда смеси итальянского с диалектом об их с Энцо огромной любви.

Но, свернув на аллею, я испугалась. Виттория сидела, широко расставив ноги, на складной табуретке, которую принес ей пожилой мужчина, – сидела согнувшись, закрыв лицо руками, опираясь локтями о колени. Она разговаривала – разговаривала с Энцо, я это не придумала, я слышала ее голос, хотя слов разобрать не могла. Она и правда поддерживала отношения с ним после смерти; их диалог меня взволновал. Я старалась идти как можно медленнее, громко топая, чтобы она услышала. Но она меня словно не замечала – пока я не оказалась совсем рядом. Тогда она неспешно, сверху вниз, провела руками по лицу: этим выражающим страдание движением она словно пыталась вытереть слезы и одновременно показать мне всю свою боль – не стесняясь ее, а, напротив, гордясь ею. Уголки красных блестящих глаз остались влажными. У нас дома было принято скрывать свои чувства, те, кто поступал иначе, считались людьми невоспитанными. А Виттория спустя долгих семнадцать лет – для меня целая вечность – все еще горевала и плакала на кладбище, разгова-

ривала с мрамором, обращалась к невидимым останкам человека, которого больше не было. Она взяла одну вазу и сказала тихо: ты поставь свои цветы, а я свои. Я послушно опустила свою вазу на землю и развернула букет, пока она, шмыгая носом и доставая цветы, ворчала:

– Отец знает, что я рассказала тебе про Энцо? А сам он тебе про него говорил? Сказал тебе правду? Сказал, что поначалу прикидывался другом – хотел все разузнать про Энцо, все выведать, – а потом поступил дурно, погубил и его, и меня? Рассказывал, как мы чуть не убили друг друга из-за родительской квартиры – той самой убогой дыры, где сейчас живу я?

Я отрицательно помотала головой, мне хотелось сказать ей, что меня совершенно не интересуют их ссоры, пусть расскажет мне про любовь, никто из моих знакомых не мог бы рассказать об этом так, как она. Но Виттория в основном поливала грязью отца и требовала, чтобы я ее слушала, ей хотелось, чтобы я хорошенько поняла, почему она на него сердита. И Виттория – сидя на табуретке и ставя в вазу цветы, пока я, опустившись на корточки менее чем в метре от нее, проделывала то же самое, – принялась рассказывать, как они поссорились из-за квартиры – единственного, что ее родители оставили в наследство пятерым детям.

Рассказ оказался долгим и неприятным. Твой отец, сказала она, никак не уступал. Он упорствовал: “Квартира принадлежит нам всем, это квартира мамы и папы, они зарабо-

тали ее своим трудом, я один им помог и вложил в нее свои деньги”. Я отвечала: “Все так, Андре, но вы все устроены, у вас есть какая-никакая работа, а у меня нет ничего, наши сестры и брат согласны, что квартира достанется мне”. Но он заявил, что квартиру нужно продать и поделить деньги на пятерых. Может, другие и не потребуют свою долю, это их дело, а он свою требует. Так продолжалось не один месяц: с одной стороны твой отец, с другой я и все остальные. Поскольку мы не могли прийти к согласию, вмешался Энцо – взгляни на него, на его лицо, на его глаза, на его улыбку. Тогда никто не знал, что мы с ним безумно влюблены, только твой отец – он был другом Энцо, моим братом, нашим советчиком. Энцо меня защитил, он сказал: “Андре, сестра не может отдать тебе деньги, где она их возьмет”. А твой отец ответил ему: “Помалкивай, кто ты такой, ты и двух слов связать не можешь, не лезь в наши с сестрой дела”. Энцо совсем расстроился и сказал: “Ладно, пусть оценят квартиру, я сам выплачу тебе ее долю”. Но твой отец стал браниться, крикнул ему: “Что ты можешь мне дать, ты дурак, ты мелкий полицейский чин, откуда ты возьмешь деньги? А если они у тебя есть, значит, ты вор, вор в полицейской форме”. И дальше все в таком духе, представляешь? Дошло до того, что он заявил... знаешь, девочка, твой отец только выглядит приличным человеком, а на самом деле он обыкновенный хам!.. заявил, что Энцо, дескать, хочет не только меня прибрать к рукам, но и прибрать к рукам квартиру наших родителей. А

Энцо ответил, что коли так, то он достанет пистолет и пристрелит его. Прямо так и сказал: “Я тебя пристрелю” – да так уверенно, что твой отец побледнел от страха, заткнулся и сразу ушел. А теперь, Джанни, – тут тетя шмыгнула носом и вытерла сухие глаза, продолжая кривить рот, словно сдерживая слезы и гнев, – хорошенько послушай, что натворил твой отец. Он отправился напрямик к жене Энцо и в присутствии троих его детей заявил: “Маргери, твой муж трахает мою сестру”. Вот что он наделал, вот в чем он виноват, вот как он испортил жизнь и мне, и Энцо, и Маргерите, и трем бедным деткам, которые тогда были совсем маленькие.

Теперь солнце освещало клумбу, цветы сияли в вазах куда ярче, чем лампочка в форме свечки: дневной свет придавал краскам такую живость, что свет мертвецов казался бесполезным, тусклым. Мне было грустно, грустно из-за Виттории, из-за Энцо, из-за его жены Маргериты, из-за троих детишек. Неужели отец и вправду повел себя так? Мне не верилось, ведь он всегда говорил: “Джованна, самое мерзкое – быть доносчиком”. Но если Виттория не лжет, то он сам сделался доносчиком, и хотя у него были на то веские причины – в этом я не сомневалась, – все равно это было на него не похоже, да нет, это было просто невозможно. Но я не осмеливалась сказать об этом Виттории, мне казалось оскорбительным утверждать, что в семнадцатую годовщину их любви она врет перед могилой Энцо. Поэтому я молчала, хотя мне опять стало грустно: ведь я в очередной раз

не защитила отца; я неуверенно глядела на Витторию, которая, словно пытаясь успокоиться, протирала мокрым от слез платком прикрывавшие фотографии овальные стеклышки. Молчание стало невыносимым, и я спросила:

– А как умер Энцо?

– От тяжелой болезни.

– Когда?

– Через несколько месяцев после того, как между нами было все кончено.

– Он умер от горя?

– Да, от горя. Он заболел из-за твоего отца, из-за него мы расстались. Твой отец его убил.

Я сказала:

– А почему же ты не заболела и не умерла? Ты не страдала от горя?

Она посмотрела мне прямо в глаза так, что я сразу их опустила.

– Джанни, я страдала и страдаю до сих пор. Но горе не убило меня по трем причинам: во-первых, чтобы я всегда помнила об Энцо; во-вторых, ради его детишек и Маргериты, потому что я добрая, я знала, что должна помочь их вырастить, ради них я работала и сейчас работаю прислугой в половине богатых домов Неаполя, с утра до ночи; в третьих, из-за ненависти, ненависти к твоему отцу – ненависть заставляет жить, даже когда жить больше не хочется.

Я все не унималась:

– Неужели Маргерита не рассердилась из-за того, что ты отняла ее мужа, а приняла помощь от женщины, которая его украла?

Она закурила, глубоко затянулась. Отец и мама, отвечая на мои вопросы, обычно и бровью не вели, а если им было неловко, уходили от ответа или долго советовались между собой, прежде чем заговорить. Виттория нервничала, становилась грубой, сразу выплескивала раздражение, но отвечала откровенно – раньше никто из взрослых со мной так не говорил.

– Ты же видишь, что я права, – сказала она, – ты умная девка, такая же умная, как я, только мерзавка, строишь из себя святошу, а самой нравится беречь рану. Украла мужа – да, ты права, я украла у нее мужа. Украла Энцо, отобрала его у Маргериты и у детей, и я бы скорее умерла, чем вернула его. Это нехорошо, – воскликнула она, – но с любовью не спорят, иногда приходится поступать плохо. Ты не выбираешь, ты знаешь, что без зла не будет добра, и поступаешь так, потому что иначе не можешь. А Маргерита, да, она рассердилась, она забрала мужа обратно с криками и дракой, но когда потом увидела, что Энцо плохо, плохо от болезни, которая развилась в нем за несколько недель скандалов, она погрузилась и сказала ему: ладно, возвращайся к Виттории, если бы я знала, что ты захворает, я бы сразу тебя к ней отправила. Но было уже поздно, так что мы обе оставались с ним рядом, пока он болел, я и она, до самой последней ми-

нуты. Маргерита такая хорошая, добрая, чуткая, надо тебя с ней познакомить. Когда она поняла, как сильно я люблю ее мужа, как сильно страдаю, она сказала: ладно, мы любили одного мужчину, я тебя понимаю, разве можно было не любить Энцо? Так что хватит. Этих детишек я родила от Энцо, если ты тоже станешь их любить, я не против. Понятно, Джанни? Ты поняла, какая она великодушная? Твой отец, твоя мама, все их друзья, все важные шишки – разве они способны на такое, разве могут быть настолько великодушными?

Не зная, что сказать в ответ, я пробормотала:

– Я испортила тебе годовщину знакомства, прости, не стоило мне ни о чем расспрашивать.

– Ничего ты не испортила, наоборот, мне приятно. Я рассказала об Энцо, а всякий раз, когда я о нем рассказываю, я вспоминаю не только о страданиях, но и о том, как мы были счастливы.

– Об этом мне узнать интереснее всего!

– О счастье?

– Да.

Ее глаза загорелись еще ярче.

– Знаешь, чем занимаются мужчины и женщины?

– Да.

– Говоришь “да”, а сама ничегошеньки не знаешь. Трахаются. Слышала такое слово?

Я вздрогнула.

– Да.

– Мы с Энцо занимались этим всего одиннадцать раз. Потом он вернулся к жене, а я больше никогда ни с кем не была. Энцо всю меня целовал, гладил, лизал, а я гладила и целовала его – всего, до кончиков пальцев ног, гладила и лизала. А потом он входил в меня глубоко-глубоко, хватал меня за задницу обеими руками, одной здесь, другой вот здесь, и трахал с такой силой, что я начинала орать. Если ты за всю свою жизнь ни разу не сделаешь это так, как делала я, со всей страстью, которая была у меня, со всей любовью, которая была у меня, пусть не одиннадцать раз, а хотя бы разок, тебе незачем жить. Передай своему отцу: Виттория сказала, что если я не буду трахаться, как трахались они с Энцо, мне незачем жить. Так и скажи. Он думает, что своим поступком отнял у меня что-то важное. Ничего он не отнял, у меня было все, у меня и сейчас есть все. А у твоего отца нет ничего.

Эти ее слова я так и не сумела забыть. Они прозвучали неожиданно, я никогда не думала, что она мне скажет такое. Конечно, она обращалась со мной, как со взрослой, мне нравилось, что с самого начала она не разговаривала так, как обычно разговаривают с тринадцатилетней девчонкой. Но все равно это было настолько внезапно, что мне захотелось заткнуть уши. Я не сделала этого, я стояла неподвижно, я даже не сумела избежать ее взгляда, когда она попыталась прочесть на моем лице, какое впечатление произвели на меня ее слова. В общем, меня физически – да, физически! – потрясло, что она так со мной говорила, здесь, на кладбище, перед

портретом Энцо, не заботясь, что ее могут услышать. Вот это история, вот бы и мне научиться так говорить, наплевав на правила, царившие у нас дома. Прежде никто не рассказывал мне – именно мне – об отчаянной плотской страсти, так что я была потрясена. Мой живот наполнился куда более сильным жаром, чем в ту минуту, когда Виттория танцевала со мной. Это не шло ни в какое сравнение с теплом тайных разговоров с Анджелой, с истомой, охватывавшей меня в последнее время, когда мы с ней обнимались, когда вместе запирались в ванной у нее или у меня дома. Слушая Витторию, я мечтала испытать наслаждение, о котором она говорила, но при этом мне казалось, что испытать его невозможно, если за ним не последует боль, какую она чувствовала до сих пор, и если не хранить верность, как хранит ее она. Поскольку я ничего не говорила, она поглядывала на меня с беспокойством, а потом буркнула:

– Пошли, уже поздно. Запомни то, что я тебе рассказала. Тебе понравилось?

– Да.

– Я так и знала, мы же с тобой одинаковые.

Повеселев, она встала, сложила табуретку, взглянула мельком на браслет с голубыми листочками:

– Тот, который я тебе подарила, был намного красивее.

Видеться с Витторией вскоре вошло у меня в привычку. К моему удивлению, родители – хотя, если задуматься, это соответствовало их жизненному выбору и данному мне воспитанию – не ругали меня за поездку на кладбище ни вместе, ни поодиночке. Они не говорили: нужно было предупредить нас, что ты должна встретиться с тетей Витторией. Не говорили: ты хотела прогулять школу и все от нас утаить, это нехорошо, ты повела себя глупо. Не говорили: в городе очень опасно, нельзя гулять просто так, с девочкой твоего возраста может произойти что угодно. А главное, они не говорили: забудь эту женщину, ты знаешь, что она нас ненавидит, ты не должна с ней больше встречаться. Они поступили наоборот, в особенности мама. Спросили, интересно ли я провела утро. Какое впечатление произвело на меня кладбище. Весело заулыбались, как только я принялась описывать, насколько плохо Виттория водит машину. Даже когда папа спросил – почти с рассеянным видом, – о чем мы разговаривали и я упомянула – почти ненароком – Энцо и ссору из-за квартиры, он не разнервничался, а коротко сказал: “Да, мы поссорились, я не одобрял ее выбор, было ясно, что этот Энцо намеревался забрать квартиру наших родителей. Хотя он и носил форму, он был преступником, он даже угрожал мне пистолетом, поэтому, чтобы Энцо окончательно не испортил

жизнь сестре, мне пришлось все рассказать его жене”. Мама же прибавила только, что Виттория, несмотря на скверный характер, очень наивна, так что не стоит на нее сердиться, лучше ее пожалеть, своей наивностью она испортила себе жизнь. В любом случае, сказала мне мама позже, когда мы с ней остались одни, мы с папой тебе доверяем, ты разумная девочка, постарайся нас не разочаровать. Поскольку я только что сказала ей, что хочу познакомиться и с дядей и тетями, о которых упоминала Виттория, а также с двоюродными братьями и сестрами, вероятно, моими ровесниками, мама усадила меня к себе на колени и сказала, что ей это очень приятно. В конце она заявила: если захочешь еще раз повидаться с Витторией – пожалуйста, главное, чтобы мы об этом знали.

Мы стали обсуждать следующие встречи, я напустила на себя строгий вид. Сказала, что мне нужно учиться, что зря я прогуляла школу, а если уж мне захочется опять повидать тетю, то я могу сделать это в воскресенье. Разумеется, я не упомянула о том, что Виттория рассказала мне о своей любви к Энцо. Я понимала, что как только повторю хоть что-то из ее слов, родители рассердятся.

Теперь мне было не столь тревожно, как прежде. В школе к концу учебного года дела пошли лучше, меня перевели в следующий класс с приличными оценками, скоро должны начаться каникулы. По традиции в июле мы провели две недели на море в Калабрии вместе с Мариано, Костан-

цей, Анджелой и Идой. В той же компании мы отправились в первую декаду августа в Абрुццо, в Виллетта-Барреа. Время пролетело быстро, начался новый учебный год, я пошла в четвертый класс гимназии – не в лицей, где преподавал папа, и не в мамин лицей, а в один из лицеев⁴ в Вомеро. Отношения с Витторией не завяли, а, наоборот, окрепли. Еще до летних каникул я начала звонить ей, мне хотелось услышать ее грубоватый голос, мне нравилось, что она обращается со мной, как с ровесницей. Пока мы были на море и в горах, я, как только Анджела и Ида принимались хвастаться богатыми дедушкой и бабушкой и прочей состоятельной родней, немедленно заводила речь о Виттории. В сентябре с разрешения папы и мамы я пару раз с ней виделась. Потом, поскольку у меня дома никто особенно не возражал, мы стали встречаться регулярно.

Поначалу я надеялась, что благодаря мне отец и тетя сблизятся, я убедила себя, что мой долг – добиться их примирения. Но этого не случилось. У нас сложился особый, холодный ритуал. Мама довозила меня до тетиного дома и ждала в машине – читала или правила верстку. Иногда Виттория заезжала за мной на виа Сан-Джакомо-деи-Капри, но не звонила в нашу дверь без предупреждения, как в первый раз, – я сама спускалась к ней на улицу. Тетя никогда не предлага-

⁴ Действие романа происходит в годы, когда учеба в классических лицеях Италии длилась пять лет: четвертый и пятый классы гимназии и первый, второй и третий классы лицея.

ла: спроси у мамы, вдруг она хочет подняться, угощу ее кофе. И отец никогда не говорил: пусть зайдет, побудет с нами немного, поболтаем, а потом уже идите. Взаимная ненависть не ослабла, и вскоре я отказалась от попыток их помирить. Зато я все яснее понимала, что их ненависть была мне на руку: если бы отец помирился с сестрой, встречи с Витторией перестали бы быть чем-то особенным, меня бы наверняка перевели в разряд племянниц, я бы перестала быть подружкой, доверенным лицом, сообщницей. Порой мне казалось, что если бы ненависть между отцом и Витторией угасла, я бы постаралась ее возродить.

Однажды, безо всякого предупреждения, тетя повезла меня знакомиться со своим братом и сестрами. Мы съездили к дяде Николе, работавшему на железной дороге. Виттория называла его старшим братом, словно моего отца, самого старшего из детей, вовсе не существовало. Съездили к тете Анне и тете Розетте, домохозяйкам. У первой муж работал в типографии, где печатали газету “Маттино”, у второй на почте. Я словно исследовала мир родственников. Сама Виттория на диалекте так говорила о наших поездках: ты познакомишься с кровной родней. Мы передвигались по Неаполю на старой зеленой малолитражке: сначала поехали в Кавоне, где жила тетя Анна, потом на Флегрейские поля, где жил дядя Никола, а потом в Поццуоли, к тете Розетте.

Я понимала, что почти не помню этих родственников, — возможно, я никогда даже не слышала их имен. Я пробовала это скрыть, но тетя Виттория обо всем догадалась и сразу принялась поливать грязью отца, который лишил меня любви тех, у кого не было образования, не был хорошо подвешен язык, но зато было доброе сердце. Сердце для Виттории значило очень много, у нее оно совпадало с пышными грудями, по которым она ударяла широкой ладонью с узловатыми пальцами. Во время наших поездок она советовала: смотри внимательно, сравнивай, каковы мы и каковы твои родители,

потом сама скажешь, что ты об этом думаешь. Она настаивала, чтобы я постоянно присматривалась. Говорила, что у меня шоры, как у лошади, что я, мол, смотрю, но не замечаю того, что должно было бы меня встревожить. Смотри, смотри, смотри – все время твердила она.

Я действительно смотрела во все глаза. Эти люди, их дети – чуть старше меня или мои ровесники – стали для меня приятным открытием. Виттория врывается к ним в дом без предупреждения, однако дяди, тети и двоюродные братья встречали меня ласково, словно мы были хорошо знакомы, словно все эти годы они только и ждали моего появления. Квартирки у них были тесные, невзрачные, среди вещей я замечала те, что привыкла считать простоватыми и даже пошлыми. Книг не было, только дома у тети Анны валялось несколько детективов. Все говорили на смеси диалекта и итальянского, звучавшей очень сердечно, я пыталась им подражать; по крайней мере, в моем сверхправильном итальянском появилась неаполитанская мелодия. Никто не заводил речь о моем отце, никто не спрашивал, как у него дела, никто не просил передать ему привет – это ясно говорило о враждебном к нему отношении, однако мне всячески давали понять, что на меня никто обиды не таит. Они звали меня Джаннина, как звала Виттория и как никогда не называли родители. Я полюбила их всех, я никогда не была настолько готова привязываться к людям, как в те дни. Я вела себя так раскованно и весело, что решила, будто имя, которое придумала для меня

Виттория – Джаннина, – чудесным образом вылепило из моего тела другого человека, более приятного и в любом случае не похожего на Джованну, которую знали мои родители, Анджела, Ида, одноклассники. Для меня это были счастливые поездки; полагаю, что и для Виттории тоже: во время наших визитов она всегда бывала добродушна и никакой агрессии не проявляла. А еще я заметила, что брат, сестры, их жены, мужья и дети обращались с ней нежно, как с человеком, которому очень не повезло и которого очень любят. Особенно заботлив с ней был дядя Никола; вспомнив, что ей нравится клубничное мороженое, и обнаружив, что я тоже его люблю, он послал одного из сыновей купить мороженого на всех. Когда мы прощались, он поцеловал меня в лоб и сказал:

– Слава богу, ты совсем не похожа на отца.

Я все лучше училась скрывать от родителей то, что со мной происходило. Вернее, я стала ловчее врать, говоря правду. Разумеется, мне было тяжело, я страдала. Когда я была дома и слышала их шаги, узнавала их походку, когда мы вместе завтракали, обедали, ужинали, любовь к родителям брала верх и мне все время хотелось крикнуть: папа, мама, вы правы, Виттория вас терпеть не может, она хочет отомстить, хочет отнять меня у вас, чтобы причинить вам боль! Удержите меня, запретите мне с ней встречаться. Но едва я слышала их идеально правильные фразы, сдержанную интонацию, из-за которой мне казалось, что за всяким словом скрываются другие, настоящие слова, которые мне знать

не положено, я тайком звонила Виттории и договаривалась о встрече.

Теперь только мама ненавязчиво расспрашивала меня о том, что со мной происходит.

– Куда вы ездили?

– К дяде Николе, он передавал вам привет.

– Ну и как он тебе?

– Какой-то он придурковатый.

– Нельзя так говорить о дяде.

– Он все время смеялся без причины.

– Да, я помню эту его манеру.

– На папу он совсем не похож.

– Верно.

Вскоре состоялся другой ответственный визит. Тетя отвезла меня – как всегда, не предупредив, – к Маргерите, которая жила недалеко от нее. Весь этот район пробуждал во мне детские страхи. Меня пугали облупленные стены, низенькие, казавшиеся пустыми здания, серо-голубые или желтоватые краски, злые собаки, бросавшиеся с лаем за машиной, запах газа. Припарковавшись, Виттория направилась к просторному двору, окруженному бледно-голубыми домами, вошла в подъезд и, уже поднимаясь по лестнице, обернулась и сказала: “Здесь живут жена и дети Энцо”.

Мы поднялись на четвертый этаж, и, вместо того чтобы позвонить (первый сюрприз!), Виттория открыла дверь своим ключом. Она громко объявила “Это мы”, сразу раздал-

ся возглас на диалекте “Ой, как хорошо!” – и появилась маленькая кругленькая женщина, с головы до ног одетая в черное; ее красивое голубоглазое лицо словно утопало в розовой плоти. Она провела нас на темную кухню и познакомила меня с детьми, двумя сыновьями, которым было чуть за двадцать, – Тонино и Коррадо, и с дочкой Джулианой, выглядевшей лет на восемнадцать. Джулиана была стройная, очень красивая, темноволосая, с ярко покрашенными глазами, наверное, ее мать в молодости была такой же. Старший, Тонино, тоже был красивым, в нем чувствовалась сила, но он показался мне очень застенчивым, он покраснел, пожимая мне руку, а после со мной почти не разговаривал. Коррадо, единственный, кто держался свободно, был похож на человека, которого я видела на кладбищенской фотографии: такие же кудрявые волосы, такой же низкий лоб, такие же живые глаза, такая же улыбка. Увидев на стене кухни фотографию Энцо в полицейской форме, с пистолетом на боку, – снимок был больше, чем фото на кладбище, в богатой рамке, и перед ним горела красная лампадка, – я отметила, что у Энцо были длинное тело и короткие ноги; сын показался мне его ожившим, резвым призраком. Коррадо – спокойно, ласково – засыпал меня шутливыми, ироничными комплиментами, мне было смешно и приятно, что благодаря ему я оказалась в центре внимания. Но Маргерита решила, что он ведет себя невоспитанно, она несколько раз тихо сказала: “Корра, это невежливо, оставь девочку в покое”, потом на диалекте ве-

лела ему прекратить. Коррадо замолчал, глядя на меня горящими глазами, пока его мать угощала меня сладостями, а Джулиана — яркая красавица с пышными формами — звонким голосом говорила мне всякие приятные вещи. Тонино молчал, но был очень приветлив.

Во время нашего визита Маргерита и Виттория часто поглядывали на фотографию. Столь же часто они вспоминали Энцо, говоря “Знаешь, как бы смеялся Энцо”, “Ух, как бы он рассердился”, “А ему бы понравилось”. Вероятно, они вели себя так почти двадцать лет, две женщины, вспоминающие одного мужчину. Я смотрела на них и внимательно изучала. Я воображала Маргериту в молодости, похожую на Джулиану, и Энцо, похожего на Коррадо, и Витторию с моим лицом, и отца — моего отца, — каким он был на фотографии из железной коробки, на той, где они снялись рядом с магазином. Наверняка они часто там бывали и даже сфотографировались на его фоне — возможно, до того, как юная и хищная Виттория отняла у нежной Маргериты зубастого мужа, а, возможно, и после, когда у них уже был роман, но уж точно не когда отец повел себя как доносчик и когда все закончилось страданиями и ссорой. Сначала было так, потом все изменилось. Теперь обе они, моя тетя и Маргерита, беседовали спокойно, мирно, но я не могла отделаться от мысли, что мужчина с фотографии сжимал ягодицы Маргериты точно так же, как сжимал их моей тете, когда она его украла, с равной силой и ловкостью. Представив эту картину, я вспыхнула так, что

Коррадо заметил: “Ты думаешь о чем-то приятном”, а я в ответ почти крикнула “Нет”, хотя никак не могла прогнать эти мысли и все воображала, как здесь, в этой темной кухне, две женщины не раз подробно пересказывали друг другу слова и поступки мужчины, которого они делили; наверняка им пришлось нелегко, прежде чем они сумели уравновесить хорошее и плохое.

Совместное воспитание детей тоже вряд ли проходило спокойно. Да и сейчас, вероятно, не все шло гладко. Вскоре я заметила, по крайней мере, три вещи: во-первых, Виттория предпочитала Коррадо, а его брата и сестру это обижало; во-вторых, Маргерита зависела от моей тети: она говорила и все поглядывала на Витторию – согласна та с ней или нет, если нет – Маргерита быстро отказывалась от своих слов; в-третьих, все трое детей любили свою мать и порой как будто защищали ее от Виттории, хотя и относились к моей тете с каким-то испуганным поклонением, уважали ее как хранящее их божество и одновременно боялись. Суть их отношений неожиданно стала ясна, когда, уж не помню как, всплыло, что у Тонино есть друг, Роберто, который тоже вырос в этом районе, в Пасконе, но в тринадцать лет перебрался с семьей в Милан. Роберто должен был приехать в тот вечер, и Тонино согласился, чтобы друг переночевал у них дома. Маргерита рассердилась:

– Что это тебе взбрело в голову, где мы его положим?

– Я не мог ему отказать.

– Почему? Ты ему чем-то обязан? Что такого хорошего он тебе сделал?

– Ничего.

– Тогда зачем?

Они стали спорить: Джулиана встала на сторону Тонино, Коррадо – на сторону матери. Я поняла, что все они давно знали этого парня, они с Тонино вместе учились в школе. Джулиана стала горячо говорить о том, какой он добрый, скромный и умный. Коррадо, однако, явно его не выносил. Он обратился ко мне, противореча сестре:

– Не верь ей, он уже у всех в печенках сидит.

– Придержи язык, ты как о нем говоришь?! – рассвирепела Джулиана, а Тонино сказал воинственно:

– Да уж получше твоих дружков!

– Мои дружки ему морду набьют, если он посмеет повторить то, что сказал в прошлый раз, – ответил Коррадо.

Повисло молчание. Маргерита, Тонино и Джулиана повернулись к Виттории. Коррадо тоже умолк, будто жалея о своих недавних словах. Тетя помолчала еще немного, а потом заговорила тоном, какого я у нее не слышала, – угрожающим и каким-то страдающим, точно у нее болел живот:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.